



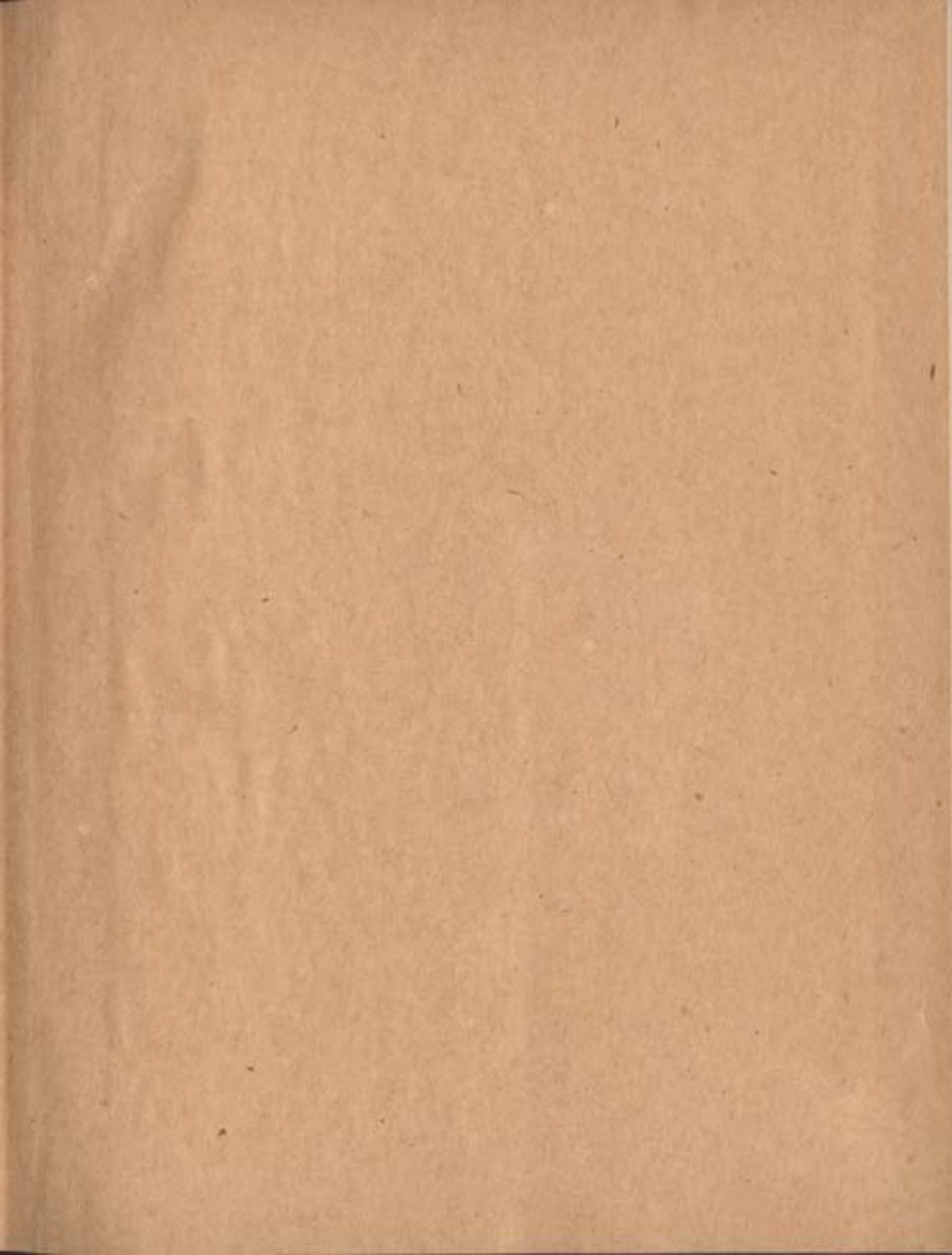
Про
КОСМАТЫХ

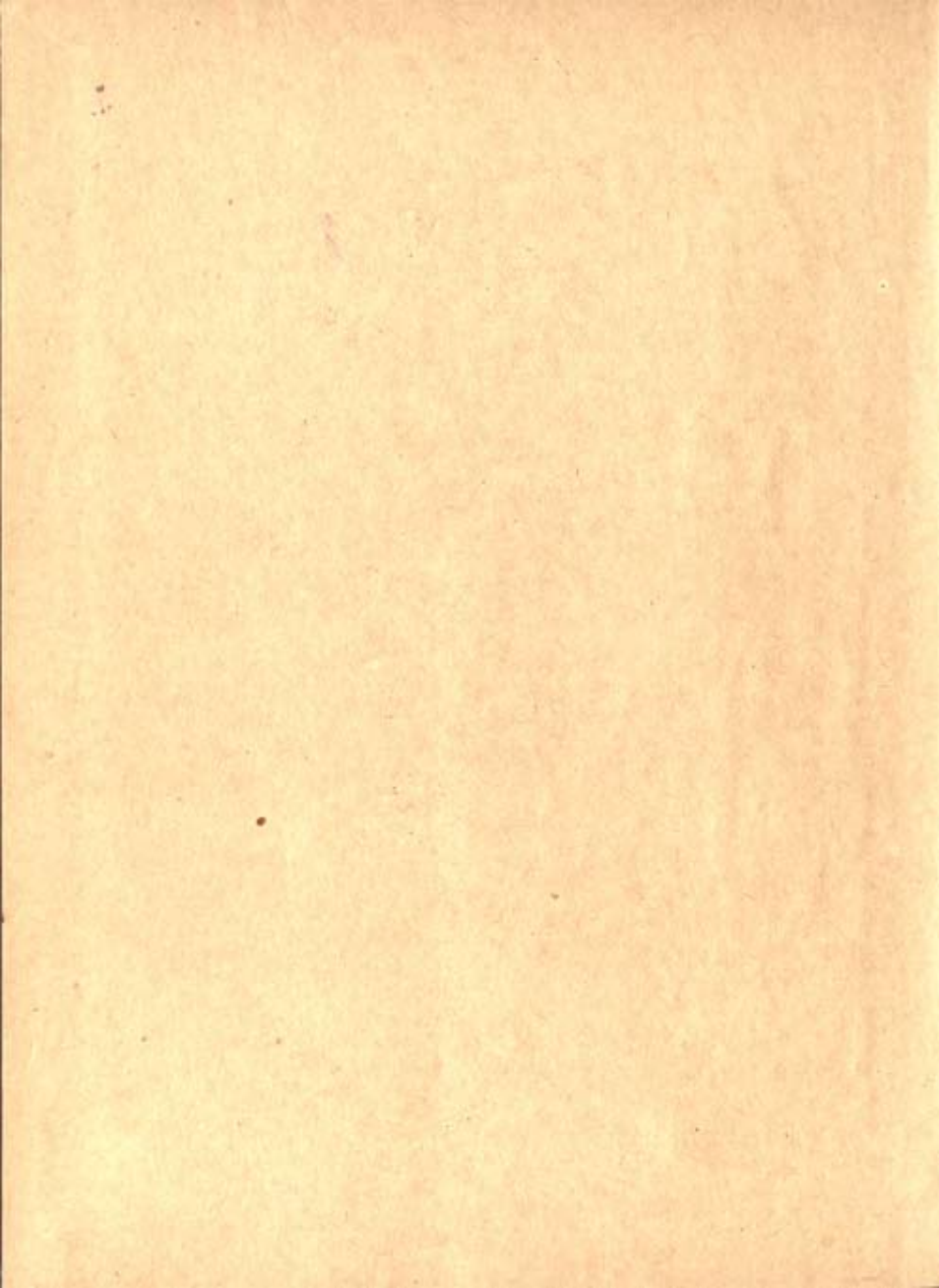
Виктор Балашов

и
ПЕРНАТЫХ



140545





P2
Б20

Виктор Балашов

Про косматых
и
пернатых



Областная
детская библиотека
имени В. И. Ленина

КУЙБЫШЕВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1967 ●

140575
+ 44
МА. 4/3

6/27/11

ЗА ЛЕТО Гришка ужасно надоел старикам, оба не чаяли, как бы избавиться от непоседливого горластого квартиранта. Когда же хмурым осенним вечером пернатый нахлебник не явился к ужину, за столом явно недоставало чего-то привычного, совершенно необходимого.

— Улетел все-таки! — вздохнул Василий Иванович, отодвигая полную тарелку. — Ну да и скатертью дорога! Не век же ему возле людей толмоститься. Вольная птица! Пожил вот и улетел... Невольить не будешь.

— Весной-то, поди, сюда же вернется, — попыталась успокоить мужа Дарья Степановна. — Неужто не навестит кормильцев своих? Родителей ведь ему заманили.

И тоже вздохнула, вспомнив, что Гришка не раз получал от нее ложкой по голове, когда осмеливался садиться на скатерть.

Впрочем, случившегося следовало ожидать со дня на день. Давно отпыхал прощальным многоцветьем погожий октябрь, отшуршал листопад. Растрепанные грачиные гнезда сиротливо раскачивались на голых тополях, а бывшие обитатели колонии с криком кружились в помутневшем небе, собираясь в далекий путь.

Гришке тоже не сиделось дома. С рассветом уже начинал биться в окно, а выпущенный на волю тотчас взмывал к небесам и носился где-то со своими сородичами до самых сумерек. Возвратясь, наскоро проглатывал оставленный ему ужин, взлетал на шкаф и быстро засыпал, сунув голову под крыло.

Одна за другой, покружив над родными местами, отлетали грачиные стаи на юг. С последней стаей исчез и Гришка, потому что стал он уже взрослым грачом и не пожелал больше менять свободу на все прелести домашнего уюта.

— Вот ведь как у ихнего брата! — не унимался Василий Иванович. — Нет бы залетел домой, хоть бы знаком известил каким: — «Улетаю, мол, бывайте здоровы!» Так ведь и отбыл, не попрощавшись... Народец тоже!

С обидой вспомнил старик, сколько мороки было с желторотым грачонком, которого подобрал он весной в саду. Птенец выпал из гнезда, поломал крылышко и жалобно звал на помощь, трепыхаясь в зарослях молодой крапивы.

Не оставлять же малыша в беде! Соорудили ему постельку в старой корзине, сделали повязку на крыло. Прожорлив и горласт оказался черный приемыш на редкость. Чуть рассветет, принимается голосить, да противно так, надрывисто! Хватай, значит, хозяин лопату, отправляйся в сад за червями — проголодался чернопузый подкидыш. Накормишь, уснет на полчаса, а и снова заголосит во всю ивановскую.

Как-то не выдержал Василий Иванович, приставил лестницу к одному из тополей и полез с грачонком за пазухой к гнездам. Однако возвратить птенца сородичам так и не удалось. Не успел старик добраться до нижних сучьев, как вся горластая грачиная братия ринулась в атаку. Чудо, как еще с лестницы не сбили, шальные!

Пробовал оставить подросшего грачонка в саду — пусть-ка теперь своя родня выкармливает! Не тут-то было! Испугавшись одиночества, Гришка гаркнул вдруг по-грачиному, свалился с яблоневого ветки, куда неучтиво забросил его Василий Иванович, и то враз-

валку, то вприскокку заспешил следом за хозяином. Не палкой же его гнать, в самом деле!

Постепенно зажило сломанное крыло, но и после выздоровления Гришка не пожелал расстаться с кормильцами. Стремительно носился он по комнате, отрабатывая, выражаясь спортивным языком, технику полета. А бедная Дарья Степановна ежедневно подбирала с пола осколки битой посуды. Вздохнули посвободней, когда Гришка начал улетать через открытое окно на волю. То-то тихо становилось в доме! Случалось, часами пропадал где-то, бродяга, но к обеду и ужину являлся точнехонько, будто у него часы на лапке. Выпрашивая подачку, грач садился хозяину на плечо, умильно терся головой о щеку и выпускал горлом такие замысловатые рулады — нахохочешься!

Тайком от жены Василий Иванович попробовал как-то преподать грачу уроки русского языка. Где там! Непоседа предпочитал упражняться в собачьем наречии. Вымахнет через окошко во двор, присядет на конуру старого Полкана, постучит клювом по крыше и давай дразниться: «Р-р-р! Гау-гау-гау!»

Неповоротливый пес, громяхая цепью, вываливался наружу и, конечно, опаздывал. Гришка восседал уже на коньке сарая и с тем же рвением передразнивал скворца.

...Да, из Гришки с его артистическим талантом могло бы кое-что получиться. Могло бы, да не получилось: улетел, негодный.

Прошло два дня. Василий Иванович начал было забывать об утрате. Забот в эту пору хватало и без грача. Надо малину подвязать в саду, выкопать и стащить в подвал луковицы гладиолусов, сложить парниковые рамы. За день так набегаешься, не чаешь добраться до постели.

Но вот на третий день, чуть забрезжил рассвет, кто-то несмело постучал в окно. Василий Иванович нехотя сполз с кровати, раздвинул занавески... Ба! Так вот кто этот ранний гость! На почерневшей от дождя раме, покачиваясь, сидел Гришка. Старик поспешно распахнул окно и принял на руки блудного питомца.

Вид у Гришки был очень неважный. Он ерошил мокрые перья, учащенно и сипло дышал, разевая длинный клюв, и устало закрывал пленками потускневшие глаза. Больное, когда-то сломанное крыло бессильно свисало вниз.

— Что ж, не по силам оказалась дальняя дорога? Вернулся, значит? — ласково гудел Василий Иванович, поглаживая птицу по спине. — Ничего, не расстраивайся. Перезимуем здесь как-нибудь, а на будущий год видно будет.

Гришка впервые отказался от еды и сразу уснул, вцепившись когтями в спинку стула. Несколько дней просидел он, нахохлившись, на подоконнике, безучастно провожая сбегавшие по стеклу дождевые капли. Потом немного повеселел, стал нормально есть и по долгу перепархивал с одного угла на другой, разминая отекавшие крылья.

В один из ненастных дней, когда все в мире было серо, мокро и скучно, Василий Иванович усадил грача на колени, показал зажатый в кулаке кусочек мяса и заявил решительно:

— Довольно нам, Григорий, намеками изъясняться. Пора уж разговаривать, не маленький. Сейчас для начала такое разучим. Я буду говорить: «Гриша!», а ты отвечай: «Чего?» Ясно? Ну начали... Гриша!

Склонив голову набок, грач ловчился схватить лакомый кусочек.

— Нет, брат! Ты скажи сначала «чего?»

В ответ вкрадчивое курлыканье.

— Не то-о-о, — протянул учитель. — Ты должен сказать «чего?» Ну, давай сначала... Гриша!

— Гра! — оглушительно гаркнул ученик и хищно уцепился за мясо.

— Грубо! — вскричал Василий Иванович, щелкая неучтивца по носу.

Сотни раз повторял старик попытку выдавить из пернатого неуча хотя бы одно членораздельное слово. Все понапрасну. Грач или курлыкал по-голубиному или гаркал свое оглушающее «гра!» и ловчился выкрасть незаслуженное лакомство. Безрезультатно окончился урок и на второй день и на третий. Терпение не раз изменяло Дарье Степановне.

— Из ума выживаешь, старый! — кричала она. — Проваливайте в сени, там и каркайте. Ему по-человечьи сроду не заговорить, может, хоть ты по-грачиному научишься гаркать.

Но Василий Иванович был на редкость упрям, и занятия повторялись изо дня в день. Всякий раз, когда бестолковый ученик щипал старика за пальцы, пытаясь добраться до мяса, тот кричал свое неизменное «грубо!» и награждал нахала увесистым щелчком. И вот однажды, на второй неделе учебы, грач, получивший очередной щелчок, метнул на хозяина сердитый взгляд и явственно выкрикнул:

— Грубо!

Опешивший от неожиданности учитель разжал кулак, а Гришка не замедлил этим воспользоваться.

С трудом сдвинувшись с места, дело с учебой начало постепенно налаживаться. Через месяц грач откликнулся на свою кличку долгожданным «чего?», громко и охотно кричал «ура!», а к концу зимы обогатил свой лексикон словом «дурак» и с уморитель-

ным птичьим акцентом рывкал: «Не трогать!», когда его слегка дергали за хвост.

Однажды в воскресенье Василий Иванович приоделся, сунул грача под пальто и отправился к своему бывшему сослуживцу Григорию Федоровичу. У того дома жил говорящий попугай, которым хозяин очень гордился. Попугай был уже немолод — насчитывал около ста лет от роду и пережил два поколения владельцев.

Как-то осенью Григорий Федорович зло посмеялся над стараниями Гришкиного учителя.

— У меня попугай — птица заморская, специальная — и то за сто лет три слова всего выучил, а ты хочешь чего-то от глупого грача добиться!

«Теперь посмотрим, кто глупее: грач или твой попка!» — подумал про себя Василий Иванович, нажимая кнопку звонка у квартиры приятеля.

... Встреча девятимесячного грача со столетним попугаем была короткой, но бурной. Линялый пыльный попугай при виде черного, как антрацит, незнакомца взъерошил хохолок на затылке и нерешительно прокартавил:

— Здохавствуй!

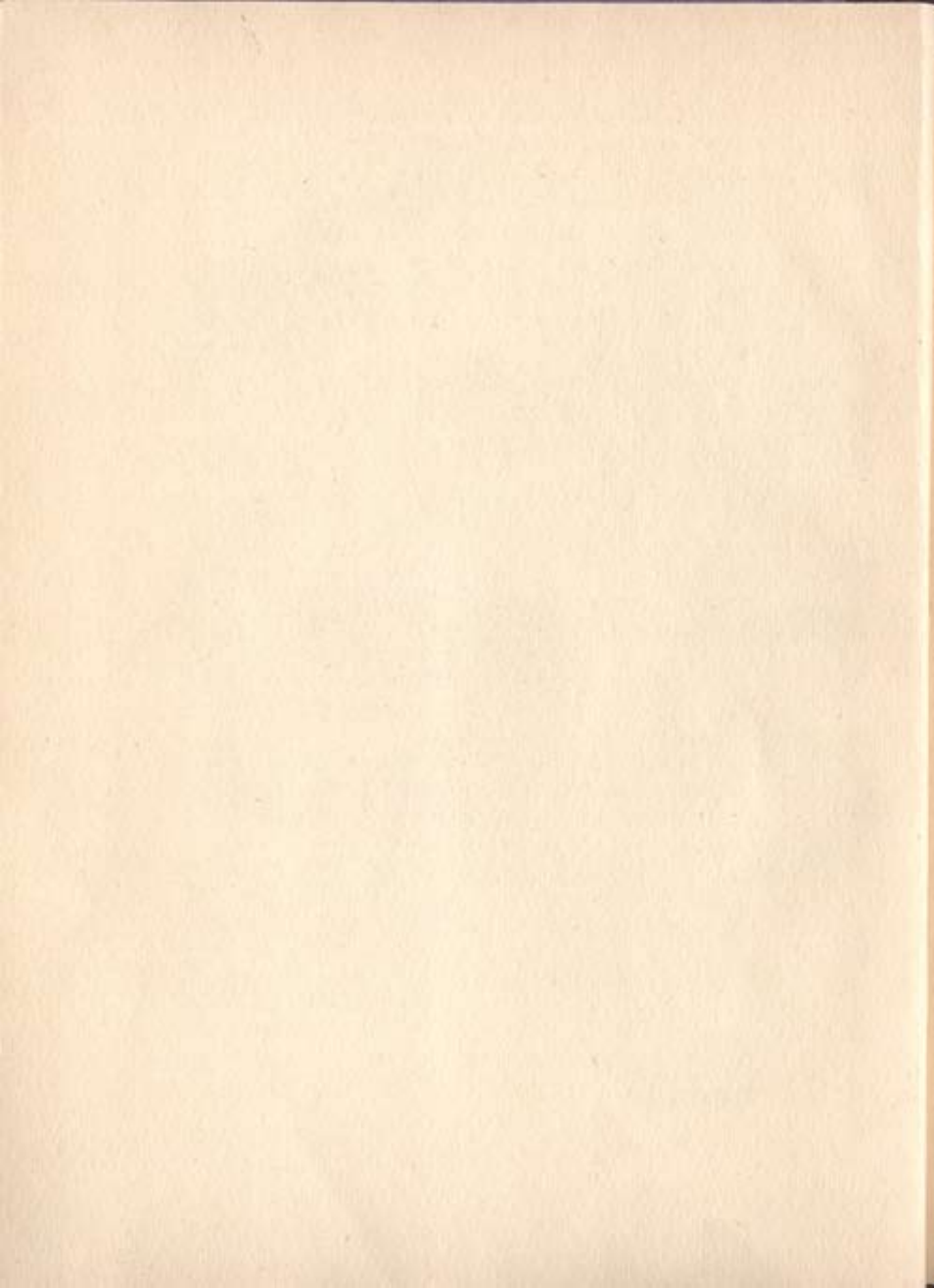
— Чего? — переспросил Гришка, отскакивая на всякий случай к краю стола.

— Здохавствуй! — повторил попугай. С самым дружелюбным видом он приблизился бочком к гостю и вдруг дернул грача за хвост своим крепким загнутым клювом.

— Не тхогать! — взъерился Гришка. Готовый к драке, он раскрыл клюв и приподнял здоровое крыло.

Попка так поспешно попятился, что впопыхах чуть не свалился со стола. У самого края он заскреже-





тал когтями по клеенке, но не сумел удержаться, и, пролетев по комнате, сел на свою клетку.

— Дурррак! — процедил он оттуда, вращая круглыми, с красным ободком глазами.

— Чего? — насторожился грач.

— Дуррак! — скороговоркой брякнул попугай еще раз и повис на клетке вниз головой.

Гришка мельком глянул на хозяина, будто призывая его в свидетели.

— Ура, Гришка! Bravo! — похвалил Василий Иванович, давясь от смеха.

— Урра! — подхватил грач недостающее слово и ринулся в атаку.

Попугай истошно заверещал что-то похожее на «карраул», юркнул в клетку, но Гришка успел-таки ухватить за хвост. Упираясь в прутья лапами, он изо всех сил тащил попку наружу. По комнате полетели оранжевые и зеленые перья.

Василий Иванович схватил своего буйного ученика, зажал его под мышкой. А тот все еще дрожал от возбуждения, шипел и ерошил. В клюве у него поскрипывало большое желтое перо, вырванное из хвоста заморского франта.

— Ну, что теперь о теске своем скажешь? — подмигнул Василий Иванович владельцу попугая. — Можно научить грача говорить или нет?

— Да ведь он не понимает, что говорит, — смущенно отозвался Григорий Федорович. — Так, брякает невпопад...

— А твой попка что понимает? Сто лет прожил, а дураком так и остался. Поживи мой Гришка сто лет возле людей, он мог бы лекции читать о борьбе с попугаями. А попка что? За сто лет три слова всего и выучил!

Размолвка с приятелем вынудила Василия Ивановича отказаться от чая и отправиться домой.

«Как мы его проучили-то! — улыбался он дорогой в усы, поглаживая задремавшего под полою грача. — Невпопад, слышь, брякает! Птица — она птица и есть. Умишка не ахти. Но ведь выговаривает-то как чисто! Ох и краснобай ты у меня, Гришка!»

...Зима близилась к концу. Заплакали сосульки на карнизах. Бойко зачирикали воробьи, купаясь в первых лужах.

В конце марта, когда ослепительно сверкал снег на солнце и в саду, под яблонями, раскинулись фиолетовые тени, грач вдруг настойчиво забился в окно. Василий Иванович вынес его на крыльцо. С восторженным родным «Гра! Гра!» Гришка взмыл на воздух и опустился в конце сада у старой березы. Там он поклевал что-то в оттаявшей у ствола земле, потом взлетел на тополь и уселся возле растрепанного зимними бурями гнезда. Обернувшись к югу, навстречу ясному солнышку, грач долго радостно кричал, раскачиваясь на тонкой ветке, будто хотел оповестить далеких сородичей своих: «Летите скорей! У нас весна, сияет солнце!»

— Глядите-ка, уже грачи прилетели! — удивлялись прохожие и радовались близкому теплу.

Вечером, когда хрустким ледком затянулись лужицы на тротуарах, грач вернулся домой.

С каждым днем отлучки его становились все продолжительней. А когда прилетели первые грачи и над тополями снова немолчно зазвучал оживленный грай, питомец Василия Ивановича и вовсе перестал ночевать дома. Наверно, нашел себе подругу среди вернувшихся грачей и принялся сплетать с ней нехитрое гнездо для будущего потомства. По крайней мере, Дарья Степановна застала его однажды в сенях за не-

легкой работой: Гришка разбирал сломанную корзину, некогда служившую ему гнездом, и по прутикам переносил ее в клюве на вершину тополя.

Раза два на день он залетал к хозяевам, торопливо глотал что-нибудь из обеденных остатков и тотчас улетал на волю. Грач уже не любил, как бывало, чтобы его гладили по спине, и не ласкался сам к хозяину.

— Совсем одичал! — огорчался Василий Иванович. — Вот скоро и говорить разучится. Пропали тогда мои зимние старания.

Но опасался старик понапрасну. Когда наступила пора огородных работ, Гришка неотлучно ходил за хозяином и, рискуя оставить голову под лопатой, выбирал из грядок упругих земляных червей. На этот раз он заботился не о себе: среди дружного писка грачиных птенцов на тополе раздавался также писк прожорливых Гришкиных детей.

Один раз (Василий Иванович в это время скручивал объемистую «козью ножку», а Гришка в ожидании начала работ дремал усталый на заборе) с улицы слышались заговорщические голоса мальчишек:

— Глянь-ка — спит! Вот бы поймать! — восхищенно прошептал один. — Ведь и сидит-то совсем низко.

— И вправду уснул! — подтвердил второй. — За хвост его — и наш будет.

— Ты, Шурка, подсади меня, я его цапну! — нетерпеливо перебил третий.

Через щели между досками Василию Ивановичу было видно, как сорванец ловко забрался на спину дружка и, прикусив губу, потянулся к Гришкиному хвосту. Привыкшая к людям птица лишь обеспокоенно завожилась на месте, но не улетела. Однако, едва ша-

ловливая рука ухватила за хвост, Гришка резко обернулся и гаркнул во все горло:

— Не трогать! Дурррак!

Ошеломленный мальчишка грохнулся наземь.

— О-он нне велит трогать! — оправдывался перед товарищами неудачник. — Д-дураком обозвал...

Приятели не нуждались в пояснениях: они и сами слышали и были поражены не менее пострадавшего.

— Ну-ка зайдите сюда! — силясь придать лицу серьезное выражение, пригласил Василий Иванович обескураженных охотников.

Ребята, нерешительно потоптавшись у калитки, зашли. Предчувствуя, что дожидаться хозяина бесполезно, Гришка сам раскопал червяка и потащил в гнездо.

— Что, не удалась охота? — с притворным сочувствием спросил старик. — Мало того, что из рук вырвался, да еще обругал, шельмец, при всех. А пожалуй, и поделом! — неожиданно заключил Василий Иванович и продолжал наставительно: — Нельзя так, ребята! Вам наверняка говорили в школе, что грач — самая полезная птица. Он, может, в двадцать раз больше вычищает вредителей за сезон, чем сам весит. Зачем же его обижать?

Василий Иванович прикурил свою самокрутку, придавил ногой тлеющую спичку.

— А что касается этого грача, который вас осрамил сейчас на всю улицу, так это и подавно особенная птица, ученая. И детишки у него, он для них с зарй до зари старается. Во-он, видите, третье гнездо на вершинке? Там его квартира.

Старик копнул лопатой, подобрал пару червей и крикнул, подняв к небу усы:

— Гриша!

— Чего? — донесся из гнезда хриловатый голос.
— На-ка вот, отнеси гостинца своим писклятам!
— Урра! — безучастно крикнул грач, круто планируя с дерева.

Ловко подхватив червей, Гришка снова взмыл кверху, а из гнезда навстречу ему высунулось множество раскрытых клювиков.



ДВА ВЫСТРЕЛА

Я ВИЖУ, и вас заинтересовало это ружье. Изящная штука, не правда ли? Хотите снять его со стены? Пожалуйста!

Полубуйтесь тонкой гравировкой. Вот летящая над камышами утка. А на другой стороне благородный пойнтер вытянулся в стойке. На вороненой стали рисунки выглядят довольно эффектно.

Можно ли разложить ружье? Что ж! Оно не заряжено... Только делается это иначе. Одну минуту... Надо прижать пальцем вот этот рычажок и слегка надавить ложе.

Теперь обнажился черный зев ствола. Чувствуете, оттуда пахнуло пороховым дымком? В это отверстие закладывается строго взвешенная порция смерти. А дальше все зависит от удачи. Мне лично повезло. Из этого ружья, что у вас в руках, сделано всего два выстрела, и оба заряда настигли свою цель... Но больше оно не выстрелит в моих руках.

Почему? В двух словах того не объяснить. Но если вы настаиваете, расскажу все по порядку. Предупреждаю, однако: веселой охотничьей байки вы не услышите.

Начну с того, что ружье это несколько лет назад торжественно вручил мне один приятель. Подарок ко дню рождения. Считается, если человек пишет рассказы о животных, то он непременно должен быть заядлым охотником. Обычное заблуждение. Но ружье осталось у меня: ведь люди обижаются, когда отвергают их дар. К тому же я был искренне убежден, что от охотничьей страсти застрахован навечно.

И все же... Замечали ль вы — стоит человеку получить какую-то вещь, он в конце концов применит ее по назначению. Возьмите в руки молоток — вам захочется вколотить гвоздь. Топором прямо-таки не терпится сделать насечку. Ну, а ружье должно выстрелить. Хотя бы раз.

И вот как-то на лыжной прогулке плечо мне ощутило придавил новенький ружейный ремень.

Был обычный февральский день, серенький, не приветливый. Сквозь полосатую ткань облаков солнце скуповато, как бы нехотя цедило жиденький свет. Порою откуда ни возмись срывался шалый ветер, белыми кнутами поземки стегал испуганно вздрагивающие кусты и стихал где-то вдали, среди снежных барханов. Погода вовсе не располагала к длительной прогулке.

Но непривычная тяжесть ружья почему-то возбуждала меня. Стыдно признаться: я, как мальчишка, забавлялся сознанием собственного могущества. Будто выросла у меня за плечами еще одна длинная и хваткая рука и с ее помощью мне ничего не стоит заполучить любой трофей, какой только попадется на глаза. Будет ли то сторожкая лисица, пряткий заяц, а может быть, сам серый разбойник волк, я не знал, и эта неизвестность расстраивала воображение и влекла меня все дальше и дальше.

Вероятно, охотник может проснуться в каждом. Как-то сама по себе поступь моя сделалась неслышной, крадущейся, глаза — зорче, а слух отзывался на самый тихий шорох. Я слышал шуршанье иссохшего листка, волочившегося по снегу, и посвист крыльев высоко пролетавшей вороны, и шелест пересыпаемого ветром снега. К обычной жажде натуралиста — увидеть новое, выкрасть у природы ревностно хранимую тайну — примешалось недоброе желание подстрелить.

Желание дикое, постыдное, которое трудно бывает впоследствии объяснить даже самому себе и еще труднее — оправдать.

Ради успокоения совести я внушал себе, что осторожный зверь нипочем не подпустит меня на выстрел, а, если б то и случилось, без тренировки я непременно промажу.

Долго бродил я в тот день, позабыв про голод и усталость. Но все будто вымерло окрест. Охотничий пыл мой постепенно угасал. До дому не меньше трех часов ходьбы. Я уже подумывал: пора разрядить ружье и перекинуть его за спину, как вдруг из-за березового пня взметнулось нечто серое, ушастое и, то собираясь в комок, то расплываясь в длину, стремительно понеслось прочь по выщербленному ветрами снегу. Заяц-русак, старый знакомый, и раньше неоднократно удирали от моей лыжни. Встреча с ним всегда приятно забавляла меня, и в душе я неизменно желал доброго пути резвому бегуну.

Но на сей раз у меня на шее висело проклятое ружье. Я видел перед собою только мишень, которая с каждой секундой все уменьшалась и вот-вот могла оказаться за той спасительной границей, где кончается власть моего оружия. На беду вспомнилось подслушанное где-то охотничье правило — в убегающую дичь целить чуть повыше головы.

Новое ружье не знает осечки... Грохот выстрела, мгновенное замешательство, и то ли радость, то ли тревога — попал!

Заяц как-то нелепо вскинулся вверх, плашмя скользнул по снегу, дернулся и затих. В том состоянии растерянности, когда еще не веришь удаче, несмотря на ее очевидность, я бросился к своей жертве.

В охотничьих рассказах первый трофей непременно оказывается убитым наповал. Со мной случилось



иначе. Поверженный заяц неожиданно мотнул головой, встрепенулся и, часто-часто перебирая передними лапами, пополз, оставляя позади бьющую по глазам кровавую дорожку. Задние лапы, странно вывороченные набок, только мешали ему, и одна из них билась непрестанно и мелко.

Заметив человека с ружьем наперевес, зайчишка отчаянно, пронзительно закричал. Впрочем, тотчас умолк, будто понял, что никто не поспешит ему на помощь. Он повернулся в мою сторону, вытянулся на лапках и уставился в лицо темными и влажными от слез глазами.

405045
В ту минуту я с готовностью порвал бы свою рубашку на бинты, если б перевязка могла спасти беднягу. Увы, раскаянье зачастую приходит к нам, когда случившегося уже ничем нельзя поправить. Я и сам не мог понять, зачем понадобилась мне тогда жизнь этого зайчишки.

В моих силах было оказать ему лишь последнюю и единственную услугу — сократить его мучения... Вначале заяц рванулся прочь от подымавшегося ствола, потом странно напрягся весь и замер в ожидании, не сводя с меня беспощадных глаз. У меня не достало мужества стрелять. Для такого выстрела нужно или совсем не иметь души или, напротив, быть очень великодушным.

Впрочем, развязка приближалась и без того. Дышал зайчик с трудом, широко раскрывая рот, и с каждым выдохом все больше увядал, все ниже клонился на снег. Я ушел, не дождавшись его последнего вздоха. Я спешил так, будто надеялся скрыться от собственной совести. А встречный, ожесточившийся к закату ветра, словно пощечинами, сек меня в лицо пригоршнями колкого снега.

...Вот история первого выстрела. Урок, как видите, поучительный. И все же редкий урок усваивается нами раз и на всю жизнь, да и воспоминания о прошлом не живут в нас вечно.

Прошло несколько лет, и вот апрельским вечером с тем же ружьем за плечами я прыгал через лужи по расхлябанной, непролазной лесной дороге. Мой крижистый тяжеловесный спутник Василий Дмитрич с буйволовым упорством ломился напрямиком. Давно начерпав за голенища высоких охотничьих сапог, он уповал теперь лишь на спасительный бивуачный костер.

Справедливости ради скажу, что в нелегкий путь увело меня на этот раз отнюдь не желание поохотиться, и тем, что ружье болталось за спиной, я был обязан своему приятелю.

— Не дурите! — час назад увещевал меня Василий Дмитрич. — Кто же в лес без ружья ходит? А волк если? Неужто и в этого бандита не пальнете?

Сам Василий Дмитрич, по собственному признанию, без ружья ходил разве только в кино. До всего, что касается дичи, у старого лесовика непостижимое, воистину сверхчеловеческое чутье. Под ногами у нас немилосердно чавкает грязь, по обе стороны дороги, в затопленном внешними водами лесу, хором вызванивают свои брачные песни синицы, где-то в овраге торжественно хлопочет и булькает ручей.

Василий Дмитрич вдруг смахивает с головы ушанку, делает мне знак остановиться и, клоня голову то на один бок, то на другой, упоенно прислушивается. С плеча его уже сползает исцарапанная, повидавшая виды бескурковка, а я еще только начинаю выделять в хаосе весенних звуков приглушенное хорханье вальдшнепа.

Кургузая серая птица, слегка повиливая в сто-

роны, тянет низко над голыми вершинами. Дуло бескурковки, как привязанное, следует за ней, вычерчивая по небу ровный полукруг. Сердце неприятно сжимается в ожидании выстрела... Вот крылья посвистывают прямо над нами. Можно различить пестрое оперение, поджатые в полете лапки, острый клювик, шилом устремленный вперед.

Дубленое лицо Василия Дмитрича каменеет, бестрепетный палец на курке. Сейчас!...

Но ружье вдруг опускается к земле, а вальдшнеп проваливается, невредимый, за рыжую щетину леса.

— Осечка, Василий Дмитриевич? — спрашиваю с облегчением.

— Какая там осечка! Вернейший был бы выстрел...

Он стоит обеими ногами в светлой луже, как непомерную тяжесть, удерживая в отвисших руках ружье, и огонек азарта медленно потухает в его неподвижных глазах.

— Сколько уж раз бывало этак, — жалуется он устало, с обидой. — Позаришься на журавля в небе, синицу из рук упустишь. То ли еще ждет нас глухарь, то ли нет, а вальдшнеп сам в сумку просился... Пойдемте, что ль, здесь уж недалеко.

Снова лесная дорога цепко хватается за наши сапоги, отпускает неохотно, со всхлипом. В низинах, выстланных жухлым листом, стынут озерца талой воды. В эту пору, как доброму вестнику, радуешься каждой проснувшейся букашке. Жадно следишь за бабочкой, ожившим цветком мелькающей среди темных, насыщенных влагой стволов. Так и хочется провести пальцем по крутой спине божьей коровки, что сонно пробирается по ветке лещины.

Возле какой-то, ему одному ведомой отметины Василий Дмитрич сворачивает в чашу, и некоторое время

мы пробиваемся вперед, поглощенные единственной заботой — чтобы откинутаая пружинистая ветка не хлестнула спутника по лицу. Вскоре из-за ширмы молодых сосенок перед нами широко распахивается вся ржавая от юной поросли делянка, вырубленная года три назад. Мой проводник внезапно останавливается и начинает пятиться, оттесняя меня под прикрытие колючих сосенок.

— Тсс! — сердито предупреждает он мой вопрос и сейчас же озаряется радостной улыбкой. — Теперь — чу! Говорить только шепотом. Вы его видели?

— Кого?

— Да глухаря же!

— Нет.

Василий Дмитрич жестом фокусника откидывает пахучую, в слезинках смолы ветку, и я вижу по другую сторону вырубки силуэт неправдоподобно громадной птицы, вплетенный в тонкую сеть березовых ветвей. Глухарь вытягивает шею, покачивается, как бы балансируя на гибких, оседающих под его тяжестью ветвях.

— Токует! — восхищенно шепчет Василий Дмитрич. — Самой песни не слышать — далеко, а щелканье улавливаю.

Я прислушиваюсь и тоже начинаю различать своеобразную прелюдию к весенней песне великана. Вначале словно редкие полновесные капли падают в звонкий бокал. Потом капли мельчают, падают все чаще, сливаясь в игривый ручеек. Глухарь вытягивается, расправляет крылья — вот-вот улетит. На это время и приходится сама песня — то страстное лопотанье, когда глухарь воистину становится глухим ко всему окружающему и не только шагов — не слышит даже выстрела.

— Сейчас бы к нему, красавчику, подобраться,

да больно чуток, подлец, по вечерам. И токует без особого усердия: оборвет в любую минуту песню, и стой тогда под ним всю ночь до зари. — Василий Дмитрич, как занавес, опускает передо мной ветку. — Пойдемте! Не спугнуть бы ненароком. Утречком до свету его наведем. Теперь уже никуда не улетит, здесь поблизости заночует. Таков уж закон у ихнего брата.

Часом позже на склоне лесного оврага жарко потрескивал костер. Утомленный приятель мой уснул сразу. Я же долго следил, как за частоколом берез и осин вздымался багровый диск чуть ущербленной луны, как холодным пожаром опалял он кустистые вершины и, оторвавшись наконец от леса, поплыл, наливаясь светом, по пепельно-синему небу.

Сон пришел нескоро и был неглубок. Ни на минуту не забывалось, что вокруг костра белыми привидениями застыли в лунном свете березы, что где-то неподалеку, обманутая тишиной, затихла среди ветвей обреченная птица, а в журчанье обмелевшего к ночи ручья все чудилась неповторимая ее песня.

Пробуждение было легким, как после минутного забытья. Казалось странным, что заваленная с вечера в костер неохватная колодина успела перегореть надвое и погрузиться в рыхлый пепел и побледневшая луна висела над лесом совсем с другой стороны. Ни в небе, ни на земле еще не чувствовалось приближения рассвета, звезд разве только поубавилось да просторней сделалось в лесу, словно за ночь расступились деревья.

— Итак, помните, — хриплым со сна голосомставлял Василий Дмитрич. — Ни звука больше! Ступать в ногу, чтобы веточка не хрустнула. Где дам знак, остановитесь и будете ждать.

Мы выбрались из оврага, крадучись пересекли заваленную хворостом вырубку и затаились на опушке.

Ждать пришлось долго. Луна успела нагоститься в одиноком облаке и снова выползла на ясную синь. Холод давно забрался под воротник, затекли ноги. А из леса хотя бы единый звук!

Я почти не сомневался: глухарь слышал нас и улетел. Почему-то приятно было поделиться своей догадкой с охотником, у которого то ли от холода, то ли от возбуждения начали мелко подрагивать набухшие под глазами мешки. И как раз в тот момент, как я нагнулся к спутнику, из чащи начали вдруг падать хрустальные капли — одна, следом другая, третья и полились, обгоняя друг друга, сливаясь в звонкий ручеек. Василий Дмитрич собрался в пружинистый ком.

— Останетесь здесь, а я пойду под песню! — по движению губ прочел я торопливый приказ.

Едва журчанье ручейка сменилось возбужденным горячим клокотаньем, Василий Дмитрич широченными скачками заспешил ему навстречу. Завершающий всплеск песни застиг его с поднятой в воздухе ногой.

Дремучая, цепенящая тишина вновь навалилась на лес, затканый фантастическим светом луны, иссеченный тенями. Только сердце гулко колотится в предчувствии беды.

И опять тишину рвет звонкая капля, за ней вторая, еще и еще. И снова мой спутник устремляется вперед, едва разбежавшийся ручеек забурлил, будто уткнулся в неожиданную преграду.

Мне нестерпимо хочется видеть удивительного певца. Не взирая на запрет, под новую песню я тоже ныряю в чащу, несусь в лабиринте стволов. Замер, кажется, вовремя — шипучий всплеск еще долетел до слуха, когда ноги устойчиво закрепились на чем-то покато и твердо. Скашиваю глаза в одну сторону, другую. Стою на поваленном клене, слепо протянувшем во все стороны черные обломанные руки-сучья.

Тишина на сей раз продолжается целую вечность. Что же случилось? Услышал? Улетел?

Конечно, я спугнул осторожного глухаря. В душе начинает расцветать робкая радость: пусть живет редкая птица! Пусть где-то в ином краю дозвонится свою подругу и встречает с ней вместе праздник Весны.

...Отчего же тогда тревожно, нетерпеливо жду я новой песни? Или древний охотничий дух вновь просыпается во мне?

Запой, глухарь! Пусть свершится неизбежное. Будь удачлив, охотник!

И, отзываясь бессловесной мольбе, смачно падает из-за черной шапки сосны долгожданная капля. И опять замороженный собственной песней глухарь не слышит, как с разных сторон двое метнулись меж осинных луною деревьев и замерли бездыханные там, где приковал их конец песни.

Еще один бросок... Еще...

Из-за вершины холма он открылся мне вдруг так явственно и близко, что я невольно прынул назад, боясь спугнуть его. Напрасная тревога! Глухарь токует теперь почти не умолкая, самозабвенно, упиваясь радостью жизни. Он весь дрожит, вытягивается, трепещет, и лунный лес с немим участием внимает одинокому певцу.

«Взойди же, солнце! Явись, Весна, в роскошном убранстве своем. Все живое так ждет тебя!»

Стою, околдованный лунным светом и песней. Забытое ружье не оттягивает рук.

...Неожиданный, словно камень с неба, выстрел полоснул сбоку. Ломая ветви, глухарь грузно падает. И кажется — от его падения дрожь пробежала по стылой земле. Конец...

В ложине начинается непонятная возня — топот, треск валежника. Грохочет еще один выстрел. На взгорье, посеребренном луною, вырастает пухлый клекочущий шар и катится мне под ноги. Догадываюсь — глухарь! Отстраняю ружье, уступая ему дорогу. Следом появляется запыхавшийся Василий Дмитрич. С проклятьями пробегает мимо, и ломанные тени неслышно нахлестывают его по спине.

За черным раздвоенным стволом сосны продолжается борьба. Бегу туда. Вижу — белесый из лунного света ковер, окаймленный сажистыми тенями, а на конце его бьется и гортанно клекочет певец, минутой назад околдовавший меня своей песней.

— Уйдите! — хрипло кричит охотник. — Я привязал его за крыло. Теперь не уйдет.

Я не понимаю, зачем нужно привязывать к кусту раненого пленника, почему голос человека сделался вдруг таким схожим с клекотом дикой птицы.

— Уходите же! — захлебывается от возбуждения Василий Дмитрич. — Я пристрелю его.

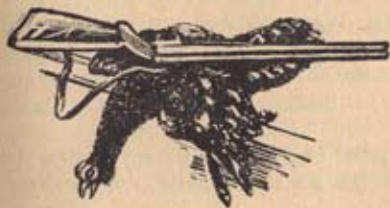
Старая бескурковка почему-то два раза подряд дает осечку.

— А ну его, так дойдет! — смущенно бормочет охотник. — Два заряда на него истратил. Сам кончится.

Могучая птица бьется у края лунной дорожки. Почти физически ощущая боль ее и тоску, я подымаю ружье... Оглушенный выстрелом, не сразу догадываюсь, почему так сердит Василий Дмитрич. Оказывается, нельзя было стрелять так близко: кучным зарядом рискуешь попортить внешний вид дичи.

На обратном пути мы угрюмо молчали. Молчал и ограбленный лес в багровом сиянье зари. Ему так не доставало глухариной песни!

...Вот и все. Теперь вы понимаете, почему больше не выстрелит красивое ружье, что лежит у вас на коленях.



ЛЕС ПОДСТУПАЛ к самому домику. Одну сосновую ветку — кустистую, с разошедшейся щербатой шишкой — пришлось даже обломить: она мешала закрывать окно на чердаке. В ветреную погоду деревья оживленно лопотали вокруг и царапали сучьями по тесовой крыше.

Но не ветер — птицы будили Алешу по утрам. В последние дни его прилежно навещает какая-то стыдливая пернатая незнакомка. Подарит чудесной песенкой, заронит беспричинную радость в душу... и была такова.

Вот и сейчас... Слышите? «Тиу-лиу, тиу-литу!» То ли серебряный колокольчик прозвенел, то ли пропела игривая флейта.

Алеша на цыпочках подбегает к окну, щурясь от солнца, ищет в ветвях таинственную певунью. Напрасно! Пугливая, она исчезает всякий раз, чуть скрипнет разошедшаяся рама.

Перед окном мерцают, покачиваясь, вожденные хвонинки. Алеша гладит их рукой, будто котят, ловит на ладошку теплые лучи. Душистый лесной ветерок треплет его спутанные волосы. Над головою жужжит, тыкаясь в потолок, заблудшая пчелка. Чьи-то цепкие лапки шуршат по крыше.

После завтрака Алеша надевает очки и отправляется в лес. Гулять ему разрешено только до ручья. Но вот беда — вдаль Алеша видит совсем плохо. Захочет рассмотреть получше франтоватого дятла, бабочку или пучеглазую стрекозку, так ведь, хитрецы, непременно заманят в самую глушь.

С цветами проще — те никуда не улетят. А сколько неожиданных открытий таит каждая былинка, стоит лишь взглянуть на нее через сильные линзы очков! Присядешь на корточки перед головкой отцветшего подснежника, и тебе навстречу всплывает из зеленого сумрака округлое шелковистое облако. Узорчатые чешуйки лишайников на березовой коре превращаются в чеканные монеты из какого-то древнего клада, а куртинка седого мха — в настоящий дремучий лес из хрупкого серебра.

Но ничто не могло удержать Алешу, если из глубины леса долетал протяжный мелодичный посвист — тию-лиу, тию-литу! Как замороженный, спешил он навстречу песне. Бежал не таясь, побуждаемый страстным, необоримым желанием увидеть. Кто объяснит, почему так влечет нас к себе недоступное? Ведь Алеша знал по опыту — милая певунья ревниво бережется стороннего взгляда. Вся надежда была на слепой слушай.

И вот однажды (впрочем, это скорее походило на сон, чем на явь), однажды с вершины березы, откуда только что слышался знакомый посвист, взметнулась вдруг к небесам диковинная птица. Она описала в воздухе крутой полукруг и утонула в зеленом дыму листьев. Алеша успел лишь заметить, что оперенье птицы сверкнуло всеми цветами радуги. Еще ему показалось — то ли это солнце вспыхнуло на стеклах очков, — ему показалось, будто от крылатого дива веером рассыпались по небу цветные лучи.

Всего миг длилось виденье, но долго не мог опомниться ошеломленный мальчуган.

Было утро. Беззвучно струились рубчатые листья осин, процеживая солнечные лучи, и тяжелые редкие капли росы ртутными шариками скатывались в траву.

С той поры много раз приходил Алеша к древней

березе. Ждал, затаясь, не взлетит ли снова сказочная птица. Возвращался усталый, задумчивый. Боясь насмешек, даже матери не открывал, что привиделось ему однажды майским утром в лесу.

К счастью, не все лесные обитатели были так недоступны. На песчаной отмели у ручья Алешу встречали оживленным писком веселые кокетливые трясогузки с черными галстучками на белоснежных манишках. Знал Алеша, на каком пне любит понежиться молодой ужик в золотистой коронке, где свила гнездышко прилежная горихвостка.

Возле востроухого куста можжевельника, осыпанного зелеными искрами новых игл, жила прелестная ящерица. В первые дни она, взметнувшись, исчезала в норке, едва заметит вблизи непрошеного гостя. Алеша опускался на колени и тихонько просил:

— Выйди. Я только посмотрю на тебя.

Из подземного убежища появлялась лакированная головка, и на прищельца нацеливался крохотный глазок-бусинка.

— Совсем выйди! — просил Алеша.

Ящерица задерживала белесоватой пленкой глаза, помедлив, вылезала и, клоня головку то на один бок, то на другой, осматривала гостя. Спинка и бока у нее вышиты мельчайшим зеленым бисером, а кожа под мышками сбиралась от учащенного дыхания.

— Вот видишь — ничего дурного не случилось, — шептал восхищенный Алеша. — Погрейся на солнышке, а я буду смотреть на тебя.

День ото дня ящерица становилась все смелее, доверчивее. Один раз, когда Алеша гладил ее травинкой, сбоку наплыла вдруг чья-то тень. Ящерица мгновенно скрылась в норке. Алеша обернулся. Парнишка лет восьми, солидно заложив за спину руки и расставив босые ноги, бесцеремонно, в упор рассматривал его

из-под надвинутого до самых глаз картуза. Против солнца загорелый незнакомец выглядел совсем черным, только светились под картузом соломенные, давно не стриженные волосы да пунцово рдели оттопыренные уши.

— Чего ты искал там? — небрежно спросил парнишка, пожевывая какой-то мясистый стебель.

— Ящерица здесь живет, — смущенно пробормотал Алеша.

— Невидаль тоже — ящерица! — ухмыльнулся незнакомец, однако присел на корточки перед норкой.

— Она красивая, — как бы оправдываясь, сообщил Алеша.

— Ящерица — ящерица и есть!

В эту минуту глупая ящерица совсем некстати выскочила из своего убежища. Белобрысый с неожиданной прытью схватил ее вместе с пригоршней песка. Мгновенье — и гибкое зеленое тельце свернуло на солнце. Алеша радостно восторженно — вырвалась! Но тотчас заметил: в руке у паренька бьется оторванный хвостик.

— Ну зачем так? — простонал Алеша. — Ей же больно!

Прикусив крепкими желтоватыми зубами кончик языка, парнишка молча любовался своим трофеем. Потом отшвырнул двумя пальцами прыгающий жгутик и обернулся к Алеше.

— Больно, говоришь? А чего ее жалеть? Не человек ведь — ящерица. Их вон сколько везде!

Незнакомец подобрал оброненный стебель, страшно вжал песок с него и зачавкал как ни в чем не бывало.

— Тебе и впрямь ее жалко? — удивленно воскликнул он, вглядываясь в расстроенное лицо Алеши. —

Эх, чудила! Да у нее же новый хвост вырастет. Ты что, не знаешь, что ли?

Алеша только прерывисто вздохнул. Ведь это он приучил ящерицу не бояться человека, значит, сам отчасти повинен в ее беде.

— Будет дуться-то! — примирительно сказал парнишка. — Было б из-за чего, а то — тьфу! — хвост ящеркин! Ты скажи лучше, чего ищешь в лесу-то. Ягод еще нет. Щавель нешто?

— Жар-птицу искал я, — бездумно вырвалось у Алеши.

— Чего, чего? — Белобрысый расхохотался, держась одной рукой за живот и тыкая пальцем в Алешу. — Жар-птицу ищет! Охо-хо! Иванушка-дурачок ищет Жар-птицу!

Алеша резко повернулся, зашагал прочь, но сбоку опять выскочила угловатая тень и нервически запрыгала по кустам.

— Вот опять в пузырь полез! — заискивающе бормотал незнакомец, семеня позади босыми ногами. — Сам и виноват. Его всерьез спрашивают, он же про какую-то Жар-птицу... Звать-то как тебя?

Алеша промолчал.

— Ну и дуйся! Очень нужно... А я еще думал его с собой за волчатами взять.

Парнишка забежал вперед, чтобы посмотреть, какое действие произвело его великодушное обещание.

— Волчицу я выследил в Елисейском овраге. Логово у нее там. Иду вот к леснику сейчас. Он мне людей приходится, Степан Назарыч-то. С ним вместе и сходили бы завтра.

— Степан Назарыч в город уехал на целую неделю! — хмуро сообщил Алеша.

— А ты откуда знаешь?

— Знаю. Мы дачу у них снимаем.

— Вон оно что! Это ты и есть Алеша из города?
Алеша кивнул.

— А меня Мишкой зовут. Из Кувшинки я... Да ты погоди! Куда спешишь? Обдумать надо, как теперь быть. Разве будет волчица ждать целую неделю? Перетащит выводок в другое место, ищи тогда!

Они остановились возле тесно сгрудившейся семейки молодых сосенок. Мишка обломил несколько ростков с бледно-зелеными шерстинками еще не отделившейся хвои, начал в раздумье жевать их. Перехватив удивленный взгляд Алеши, предложил:

— Попробуй! Кисленькие. Не бойся — они полезные. От цинги этим лечатся.

Алеша с опаской пожевал. Новый знакомый начал чем-то нравиться ему! Застенчивый и неловкий с людьми, Алеша особенно ценил в других находчивость и смелость. А Мишка, видно, из храброго десятка, если один волчицу выследил.

— Ну вот что! — Белесые, выгоревшие Мишкины брови сошлись у переносья. — Назарыча ждать не будем и вообще в компанию никого больше не возьмем. Одни управимся. — На Алешино плечо обрушилась крепкая Мишкина рука. — Логово разыщем, волчат в мешок, и айда!

— А... если волчица? — поежился Алеша.

Смешно выпятив нижнюю губу, Мишка сплюнул зеленой кашицей.

— Что волчица? Думаешь — бросится? Не-е! Сдрейфит. Это уж проверено. Следом, верно, увяжется, а чтобы броситься — слабо! Потом я ведь штырь железный прихвачу. Так по башке тяпну! Только не подействует она, нет.

Мишка щелчком сбил комара с руки, сказал твердо, как отрубил:

— Завтра утречком сюда придешь. К этим вот со-

сенкам. Я с мешком ждать буду здесь. Без обмана только, слышишь?

...Елисейский овраг оказался за тридевять земель. Спотыкаясь от усталости, Алеша продирался следом за неутомимым Мишкой сквозь чащу, по крутому глинистому склону сползал в сырой овраг, плутал в нагромождениях бурелома.

О, хитрая волчица умела замаскировать свое логово!

Отчаявшись разыскать выводок, Мишка решил выследить волчицу, когда та будет возвращаться с охоты к детенышам. И вот мальчики сидят, скорчившись в душной парной глуши, где терпко и горько пахнет разомлевшей от зноя листвой и тонко звенят над ухом назойливые комары. Волчицы нет как нет. Мишка нервничает. Запустил сучком в соседний куст, откуда цвиркнула неведомая пичужка, сбил кулаком жука, с натужным жужжаньем кружившего над поникшими листьями папоротника. Наконец, остервенело прищлепнув на щеке кровопийцу-комара, не выдержал:

— Житья не дают, стервецы! Разве с ними выследишь зверя? — Мишка обиженно вытянул губы, отер рукавом лоб. — Пойдем скупнемся, что ль, Алешк! Озерцо я тут знаю неподалеку.

Шли без тропы.

Жаркое полуденное солнце сквозило в вершинах берез. Проголодавшийся Мишка на ходу срывал какие-то стебли, с аппетитом жевал их.

— Попробуй! — предлагал он Алеше. — Это — скирда, на редиску чуточку похожа. А это вот — купыр. Тоже вкусно.

Алеша покорно жевал, хотя его слегка поташни-



вало от обилия зеленой пищи, рассеянно поглядывал вверх сквозь запотевшие очки.

— Шагай живей! — поторапливал Мишка. — Ну что ты в небо уставился? Жар-птицу, что ли, свою высматриваешь?

Алеша отвернулся, обиженный.

— Опять сердает! — искренне огорчился Мишка. — Расскажи-ка, правда, что за птицу искал ты вчера.

— Ты же снова будешь смеяться.

— Не буду, слово даю, — пообещал Мишка. — Рассказывай, какая она из себя.

Алеша пригнул голову к петлице, куда еще утром вставил букетик ландышей: завядшие цветы и сейчас струили тонкий аромат.

— Какая, спрашиваешь... Красивая. Очень красивая! На осколок радуги похожа. И синим, и зеленым сверкнула. И даже, знаешь... светится.

— Вот уж чтобы светилась, это ты, брат, заливаешь. Птица — не светлячок. — Мишка сорвал мимоходом мясистый, с рассеченными листьями стебель борщевика и принялся ловко отслаивать кожурку нечистым ногтем. — А нарядных птиц, как ты рассказываешь, мало ли? И на сизоворонку подумать можно, да и на сойку похоже. Вот бы послушать, как поет, тогда точно сказать можно.

Алеша хотел было изобразить музыкальный свист Жар-птицы, но Мишка сделал вдруг страшные глаза и приложил палец к губам. Алеша замер на месте.

Гибким скользящим движеньем Мишка извлек из кармана штанов рогатку, зажал меж стиснутыми губами крючок из толстой проволоки, привычно расправил резинку. Алеша с затаенным дыханьем следил за этими приготовлениями. От одной мысли, что Мишка

приметил в кустах волчицу, обмякли и сами собой погнулись колени. Но, зацепив крючком резинку, Мишка стал прицеливаться не в кусты, а вверх — в сплетенье сосновых ветвей.

Щелкнула резинка, свистнув, хлестнул по веткам нехитрый снаряд. Серая, величиною с голубя птица всполошенно забила крыльями. Огибая стволы, стремительно понеслась в чащу. На землю посыпались зеленые ежики сбитых хвоинок.

— Промазал, гадство! — с досадой крикнул Мишка. — Против солнца целиться пришлось.

— Кто это был? — все еще вздрагивая от волнения, спросил Алеша.

— Горлинка.

— А зачем убивать ее?

Мишка удивился:

— Чудила! Она, знаешь, какая вкусная!

— У вас, наверно, есть нечего? — наивно округлил глаза Алеша. Ему вдруг пришла в голову мысль, что и траву Мишка поедает от голода.

— Неужто ради еды только охотятся? — Мишка с раздражением запихнул рогатку в карман. — Как тебе это втолковать? Интересно это, понимаешь? А потом и мясо тоже... Даровое притом.

Алеша хотел возразить, что это жестоко, мерзко, но только рукою махнул. Разве такому докажешь? Обзовет еще дохлой интеллигенцией, очкариком. Да и горлинка-то улетела, на счастье.

Молча тронулись дальше. Огорченный неудачей Мишка тяжело сопел, отирал рукавом лоб и злобно отмахивался от привязчивой мухи. Оживился он только при виде озерца, которое сверкнуло меж стволов неожиданно, будто свалившийся на землю клочок чистого неба.

— Ну и жарынь! — захрипел Мишка, на ходу

сдирая потную, прилипшую к плечам рубашку. — Раздайся живо, Алешк. Смотри вот!...

Фонтан слепящего жидкого солнца взлетел над озером, когда Мишка взрезал своим телом нетронутую гладь. Испуганно дрогнули и закачались опрокинувшиеся в воду сосны.

— Ох, и мирово же! — ревел Мишка, подскакивая. — Прыгай, Алешк! Да очки-то сними! Потопишь, чудила!

От холодной воды перехватило дыхание, будто ледяными обручами сковало грудь. Но кому же хочется прослыть трусом и неженкой? Алеша стойко вынес испытание до конца.

На песчаный откос он выбрался следом за Мишкой мертвенно-синим, с обвиняющей вкруг ноги колючей травой. У него шумело в ушах, кружилась голова и все неудержимо прыгало перед глазами. Квадратное лицо Мишки с дрожащими фиолетовыми губами и сиянием вокруг мокрых встопорщенных волос вдруг расплывалось, и на Алешу опрокидывалось бездонное небо. Голубая стрекозка повисала в синем океане, ослепительно сверкая трепещущими крылышками. Потом вдруг иззубренные пики сосен вонзались в небо, и на их пестро-зеленом фоне корчился размытый силуэт Мишки с головой, застрявшей в рубашке, и нелепо болтающимися рукавами.

Внезапно все померкло, и сквозь шум в ушах Алеша расслышал обеспокоенный Мишкин голос:

— Ты чего, Алешк? Слышь! Чего с тобой?

Затем предметы снова обрели привычные краски, хотя шум в ушах не утихал и не унималась несносная дрожь.

— В овраг уж не пойдем сегодня. Завтра утречком счастья попытаем, — гудел над ухом Мишкин голос. — А сейчас куда с тобой таким?

Мишка проводил Алешу до самого дома. На прощанье сказал ободряюще:

— Ты крепись, Алешк. Пройдет все. Завтра выследим волчицу, башку на отсечение!

...Но «пытать счастье» наутро Алеше не пришлось. Всю ночь он метался в жару, сбрасывая холодный компресс, который накладывала ему на лоб встревоженная мать. Виделся ему сказочный дремучий лес до неба. Над лесом, озаряя его каскадом радужных лучей, величаво пролетала Жар-птица, а Мишка целился в нее из рогатки.

Чуть рассвело, мать отправилась в районную больницу за врачом. Проснулся Алеша поздно. Утро выдалось прохладное, ветренное. Снаружи глухо ворчали сосны и скребли ветвями по крыше. Проворные облака, похожие на рваные простыни, то закрывали солнце, то снова выпускали на ясную синь, и тогда на подушке у Алеша принимались плясать веселые светлые зайчики.

Неожиданно у постели появился Мишка, босой, в неизменном парусиновом картузе.

— Задувает сегодня! — сказал он вместо приветствия и присел на табуретку возле кровати. Оглядевшись, добавил: — Тесновато у вас здесь, а так ничего вообще-то, жить можно.

— Можно жить, — с натугой просипел Алеша и закашлялся.

— А я тебя там все жду, жду! Все нет и нет тебя. Дай, думаю, зайду. А ты, хозяйка говорит, хвораешь, оказывается.

Алеша виновато улыбнулся, пощупал влажное полотенце на лбу.

— Тебе бы чаю горячего с малинкой, — хмуро посоветовал Мишка. — Могу принести сушеной. У нас есть. Сам собирал летось. А еще у деда Андрея меду

выпрошу. Тоже помогает от простуды. Вчера это ты простыл. Не надо бы купаться так долго.

— Ты не заботься. — Чтобы снова не раскашляться, Алеша ухватился за горло. — Доктор придет, лекарства даст.

— Подумаешь — заботы! — хмыкнул Мишка. — Если чего нужно, только скажи, я всего добуду.

В лесу бушевал ветер. Быстрые облака набегали на солнце, опаляя рваные крылья. Птицы давно умолкли.

Неожиданно в разноголосом шуме леса выделился знакомый переливчатый посвист. Ветер не смог заглушить песенку, простую и чистую, как звон апрельской капли.

— Ты чего это? — Мишка удивленно уставился на преобразившееся лицо друга.

— Тсс! — Алеша погрозил пальцем. — Тихо! Это она поет...

— Кто «она»?

— Ну... та самая... Жар-птица. — Васильковые глаза Алеши так и лучились радостью.

Мишка ухмыльнулся:

— Нашел тоже Жар-птицу! Самая что ни на есть иволга. Простая иволга! Она еще под дрозда подпевать может. А еще кошкой кричит.

Бывают же мастера ломать хрупкую сказку! Все, к чему прикасаются их скучные руки, становится сразу обыденным, будничным, неинтересным. Мишка по-своему истолковал причину, почему так сник, помрачнел его маленький приятель.

— Ты и впрямь ее не видел ни разу, иволгу-то?

Алеша отрицательно покачал головой.

— И очень хотел бы увидеть?

Задумчиво глядя в окно, Алеша тихонько кивнул!

— Очень... Она, знаешь, во сне мне привиделась. Красивая! Будто радуги осколок.

Алеша прикусил губу, испытующе покосился на Мишку — не смеется ли? Нет, тот не смеялся. Что-то сосредоточенно обдумывал, собрав морщинки у переносья.

— Ладно! — Мишка решительно поднялся. — Пойду я. Малинки тебе принести надо и медку. А иволгу увидишь, может быть... Если повезет.

И он ушел, не прощаясь.

Помутневшие облака неслись теперь плотными рядами и наконец совсем полонили солнцу. Глухо роптали сосны за окном. Несколько крупных градинок цокнули по звонкой крыше, подскакивая, покатались вниз. Алеша поежился, натянул одеяло на плечи и забылся в тяжелой дреме.

Вернулся Мишка не скоро. Деловито поставил на стол стакан с медом, пристроил рядом бумажный кулек с черной сушеной малиной и полез за оттопыренную пазуху. Он еще не нащупал того, что принес, а у Алеши отчего-то больно защемило сердце.

С медлительной важностью Мишка извлек из-за пазухи убитую птицу. Она была чуть покрупнее скворца, с опереньем чистейшего золотисто-желтого цвета, как предрассветное облако. На крыльях — черные траурные полоски. Изящная удлиненная головка с кровавым пузырьком на клюве скорбно упала вниз, когда Мишка торжественно растянул свой трофей за кончики крыльев.

— Вот она, твоя Жар-птица! Для тебя старался добывал. На вот! Бери! Смотри теперь, сколько хочешь.

Но Алеша уже ничего не видел. Скорчась на постели и обеими руками прижимая к лицу подушку, он горько, безутешно плакал.

— Я хотел живую... Я хотел видеть живую... в лесу! — стонал мальчуган, терзаясь непоправимостью случившегося.

А Мишка слушал и недоумевал: ведь никогда в жизни не испытывал он, как это больно, когда убивают красивую сказку.



ВЕСНА в том году выдалась ранняя, ровная. Днем под жарким солнцем плавилась смола на бронзовых стволах сосен, а ночью ветки прогибались под тяжестью холодных сосулек.

В ельнике да по северному склону лесного Оврага еще лежал снег, а на южной стороне, возле прогретых солнцем корней, уже затеплилась первая жизнь. Прокалывая ржавые прошлогодние листья, потянулась на свет нетерпеливая травка, и красавец подснежник, укутанный в бархатистую шубку, выглянул из-под слежавшейся хвои.

Как-то вечером сюда, в тихую лесную глухомань, забрела зайчиха. Поводила ушами, принюхалась и бесшумными скачками направилась вдоль оврага. Зайчиха была очень осторожна. Хрустнет ли где иссохшая веточка, упадет ли с дерева кусочек коры, она тотчас расплывается на земле и лежит недвижимо, кося по сторонам выпуклыми немигающими глазами; потом выставит торчмя одно ухо, прислушается и, успокоенная, заковыляет дальше.

Открытые лесные полянки она старалась проскочить побыстрее, не задержалась и в просторном бору. Лишь в непролазной чащобе дубняка зайчиха осмелела и с деловитой поспешностью принялась выискивать что-то в кустах. Придирчиво обнюхивала каждый сучок, швырялась в полуистлевших листьях. С особой тщательностью она обследовала трухлявый пенек, словно щетиной обросший колкой молодой порослью. Вокруг него зайчиха напетляла замысловатый лабиринт следов и вдруг сильным прыжком метнулась в сторону

ну. Грузное тело ее плюхнулось возле самого пенька на подстилку из древесной гнили и спрессовавшейся листвы. Не раз еще показывались из-за пенька большие настороженные уши, не раз белячиха вставала столбиком и внимательно осматривалась. Убедившись, наконец, что за ней никто не наблюдает, она закопалась в листья и затихла...

Ночью у нее родилось шестеро зайчат — шесть маленьких пушистых шариков. Они совсем не пищали, как детеныши других четвероногих, не расползались по сторонам, а сразу уцепились за набухшие соски матери и принялись сосать. Потом с раздутыми животиками стали один за другим отваливаться от сосков. Когда отцепился последний, измученная мать прикрыла задремавших малышей листьями, выпрыгнула из гнезда на свой старый след и исчезла в темноте...

К утру похолодало. Влажные дубовые листья в незатейливом заячьем гнезде начали похрустывать и коробиться от мороза. Новорожденные закопошились. Те, что лежали с краю, норовили протиснуться в серединку, где потеплее. Самый крупный зайчонок, который сладко спал, пригретый со всех сторон тельцами братьев, оказался вдруг с краю и проснулся от холода.

Зайчонок беззвучно чихнул и зашевелил своим удивительно чутким носиком. Лесные запахи породили у малыша смутное ощущение, будто из темных глубин леса доносится чей-то властный призыв. То был голос инстинкта. Послушный его зову, зайчик выбрался наружу и отправился в свое первое путешествие в неведомый мир.

Голубыми искорками вспыхивал иней на метелках прошлогодней травы, похрустывали промерзшие хвойники под крошечными лапками. Нелегко было идти малышу. Ведь в своем непомерно раздутым животике

он волочил почти столько же материнского молока, сколько весил сам. Попробуй-ка потащиться с таким грузом через узловатые корни, протискиваться под хворостинами! В безопасных местах — за грудкой листьев, под кочками — зайчонок останавливался перевести дыхание и осмотреться. Затем снова терпеливо карабкался через канавы и корни.

Когда небо на востоке чуть забелело, усталый малыш уже дремал в укромной ямке, далеко от родного гнезда. Почудились ему сквозь сон шорох промерзшей травы и шлепанье чьих-то лапок. То перебирался на новое место один из его маленьких братьев. Тот же мудрый инстинкт заставил и других зайчат поодиночке искать убежище вдали от гнезда...

...Бесшумно скользит по лесу рыжебокая лисица, рыщет по кустам поджарый, оголодавший за зиму волк. Останься малыши на месте, живо нашли бы их хищники по следам матери-зайчихи. А теперь — попробуй найди! Сами зайчата ничем не пахнут: потовые железки у зайцев на лапках, а у новорожденных они и там закрыты. Значит, по следам зайчонка и сама мать найти не сможет. Только движением мог бы выдать малыш свое присутствие, но он затаился, не шелохнется. Уткнул лобастую головку меж передних лапок, уложил ушки на спине и совсем слился рыжей шубкой с бурой кучкой листвы: наступишь — не заметишь! Даже утреннему солнцу и то не удалось обнаружить убежище зайчонка. Так и остался малыш лежать невидимый среди кучи лесного мусора.

Обогрелись под солнцем деревья и начали сбрасывать с себя ночные наряды. То здесь, то там с хрустальным звоном разбивались сосульки, шлепались хлопья инея.

Натерпелся же зайчонок страху! Когда же рискнул, наконец, открыть глаза, то не узнал лужайки.

Легкий прозрачный парок плыл над ней. Журчал на дне оврага проснувшийся ручеек. Исчез без остатка серый иней, и на каждой травинке, на ветках повисли сверкающие капли и стреляют во все стороны разноцветными лучиками.

Лежит зайка, головы не поворачивает, но все кругом видит — и спереди, и с боков, и сзади (так уж интересно глаза у зайцев устроены). Из трещины в коре выполз жучок-бронзовичок. Сверкнул на солнце бирюзовыми надкрыльниками, выпустил крылышки — совсем было лететь собрался. Однако не решился. Втянул крылышки обратно, пошевелил усиками и юркнул опять в свою щелку. Вот замелькала сбоку бабочка-крапивница, села на былинку и греется на солнышке.

Много перевидал зайчонок в первый день своей жизни, лежа в тайном укрытии, и не раз сжималось от страха его крошечное сердечко.

Посудите-ка сами. Прилетела взъерошенная ворона, села на березу, как раз над зайкой. Почистила тяжелый клюв о ветку и нацелилась хищным взглядом вниз. Малыш так и замер: вот-вот соскочит разбойница на землю. Долбанет страшным клювом в голову — и конец. Но, видно, хорошо замаскировался зайка. Каркнула ворона, оттолкнулась от ветки и полетела восвояси.

Только было успокоился маленький отшельник, как вдруг кто-то шевельнулся у него под брюшком и, с шумом взметнув шуршащие хрусткие листья, шарахнулся в сторону. То проснулась от зимней спячки увертливая ящерица.

Но самое страшное случилось под вечер. Вначале послышался треск раздвигаемых сучьев, затем гулко задрожала земля под тяжелыми копытами, и лесной великан — сохатый, высоко поднимая голенастые ноги, торжественно прошествовал через поляну.

Всему, однако, приходит конец. Кончился и этот непомерно длинный весенний день, полный волнений и страха. Длинные тени исполосовали лесную поляну. В голубых сумерках засеребрился молодой месяц.

Ночью зайка почувствовал себя смелее: потянулся, расправил онемевшие лапки, повертел головой. Но покинуть свое укрытие не посмел и ночью. Инстинкт подсказал ему, что маленьким зайчатам полагается лежать неподвижно...

Не зря забрал он в дорогу такой солидный запас материнского молока. Прошла вторая ночь, третья, а зайчиха-мать все не появлялась. Бока у зайчонка опали, животик подтянулся к самому позвоночнику. А матери все нет и нет. На четвертую ночь муки голода сделались невыносимыми. К утру малыш стал замерзать. Он завозился в своем укрытии, расшвырял листья, поднялся на задние лапки и, не обнаружив поблизости кормилицы, сам пустился на поиски.

Настороженно молчал ночной лес. Темные тучки набегали на луну, и по склону оврага проносились пуляющие тени...

Долго бродил зайчонок по лесу, вздрагивая и замирая при каждом шорохе. Спускался он на дно оврага, где приглушенно журчал ручей и, шурша, проваливался под ногами хрупкий апрельский снег; снова царапался наверх по крутому склону. И все понапрасну. Не оказалось матери ни в хмуром ельнике, ни в пахучем сосновом бору. Не оставила она следа и между задумчивых берез...

Забрезжил рассвет. На молодых осинках обозначились светлые полосы от заячьих погрызов. Маленький странник осторожно пробирался сквозь вороха хлама, которым всегда бывает завален весенний лес, когда вдруг почувствовал, что кто-то крадется по его

следам. Не помня себя от страха, малыш пустился наутек. Но не тут-то было. Сильный преследователь настигал его по пятам. Состязание не могло продолжаться долго. Зайчонок мчался напрямик, дико выбрыкивая задними ногами, скользил, снова стремительно набирал скорость, пока передние лапки не попали под предательский сучок. Несчастный полетел кувырком. Преследователь серой тенью перескочил через него, и зайчонок уткнулся в мягкий живот... зайчихи.

Да, да, это и в самом деле была зайчиха. Она наскоро обнюхала ошеломленного малыша и подставила ему набухшие соски...

Молодая зайчиха, страдая от избытка молока, вторые сутки разыскивала по лесу своих непоседливых детенышей и сама была рада случаю накормить юного скитальца. Так уж ведется испокон веков. По неписаным лесным законам каждая зайчиха отделяет молоком первых попавшихся зайчат, так как найти своих детей не удастся ни одной матери.

Кормилица терпеливо сохраняла свою неудобную позу, пока приемыш с закрытыми от наслаждения глазами заканчивал свой запоздалый завтрак. Затем она отскочила в сторону и в несколько прыжков исчезла в лесной чаще. А зайчонок пристроился неподалеку, под поваленной засохшей осиной.

Утро выдалось пасмурное, но теплое. Под мягкими порывами ветра лениво шевелились вверх тонкие ветки осины. По сухому листку рядом с зайчонком щелкнула крупная капля, вслед за ней подальше шлепнулась вторая, потом дробью капли забарабанили по разошедшей коре поваленного дерева. Начался первый весенний дождь. Это было для зайчонка ново и страшно.

К полудню стало проясняться. Умытый, посвежев-

ший лес засверкал солнечными бликами. От деревьев закурился волнистый парок.

По стволу осины, под которой схоронился наш зайка, кто-то пробежал легкой осторожной трусцой. Вот мелькнула в воздухе рыжая шуба, и на землю мягко спрыгнула лисица. Прямо перед собою малыш увидел огромную голову чудовища с широкими стоячими ушами и круглыми желтыми глазами. Еще миг, и трусишка, не выдержав напряжения, бросился бы бежать. Но инстинкт подсказал малютке иной способ защиты — притаиться! Соскочив с поваленной осины, лисица убедилась, что надежный нос на сей раз попросту надул ее. Под деревом топорщилась куча прошлогодних листьев, и только. Ведь не могло бы живое существо сидеть неподвижно под самым лисьим носом!... На счастье зайчишки зашуршала где-то неподалеку глупая лесная мышь. Плутовка вмиг подценила ее зубами и затрусила дальше.

...После дождя буйно пустились в рост травы... Обласканная солнцем земля поспешно одевалась в зеленый весенний наряд. От утренней до вечерней зари звенел в лесу разноголосый птичий хор. По ночам надрывались лягушки в ближнем болотце. После встречи с зайчихой малыш пролежал безвылазно еще три дня. Когда же голод снова начал беспокоить его, он пожевал мягкий росточек, что незаметно вылез из земли рядом с ним, потянулся за вторым, третьим, а ночью выпрыгнул на лужайку и принялся жадно щипать сочную молодую травку... При этом он почувствовал неодолимую потребность в быстрых движениях. Что-то беспокойное, зудящее появилось в его лапках и требовало выхода. Наконец он не смог больше сдерживаться. Высоко подпрыгнув кверху, он встряхнул в воздухе лапками и стрелой помчался через лес. Кровь толчками понес-

лась по жилкам, ноги превратились в тугие пружинки, и буйный восторг охватил малыша!

Понеслись мимо кусты, замелькали в лунном свете деревья, закружилась голова от медовых весенних запахов... Кто-то шарахается с дороги. Уж не волк ли уступает дорогу взбесившемуся зайчонку? Вперед! Вперед! Но слишком скоро силы оставляют бегуна, и он чуть живой валится под куст.

С этой ночи зайчонок повел совсем иную жизнь. На день он прятался в укромных местах, а ночами выходил на кормежку и тренировался в беге. Ножки его становились все резвей и выносливей.

Никто не обучал малыша заячьим хитростям. Единственным воспитателем его оставался инстинкт. Научился зайчонок на самом стремительном бегу делать неожиданные боковые скачки. Научился резко петлять на бегу и постиг, наконец, сложное искусство путать свои следы перед тем как залечь на дневку.

Раза два юнец встречал в лесу зайчих-кормилиц, и те охотно угощали его сладким молоком. Но однажды наскочил на самца. Матерый зайчище так грозно топнул ногой, так страшно взъерошил мех на загривке, что наш зайка пустился удирать во всю прыть своих проворных лапок.

...А весна шла своим чередом. Раскидал орешник золотистую пыльцу, все больше цветов тянуло к солнцу свои головки. Кружевной листвой опушились березки. Молодые вкусные побеги наливались соком. От обильной пищи зайчонок заметно вырос, окреп. И когда бродяга-волк обнаружил его дневное укрытие, перед оторопелым хищником замелькал меж кустов маленький рыжий комочек и бесследно исчез вдали.

Но от новой беды не спасли косоного и резвые ноги.

Один раз, когда молодой заяц лакомился клено-

выми побегами, в ночной тишине раздался чуть слышный посвист. В тот же миг из густой кроны ближнего дерева на спину зайца свалился пушистый серый комок. Режущая боль обожгла загривок. Несчастный отчаянно вскрикнул, сорвался с места и ринулся через лес с неведомым всадником на спине. В смертельном ужасе, не разбирая дороги, заяц мчался через чащу, а жуткий наездник все глубже запускал когти в его мягкий загривок. Ударившись о какой-то сучок, разбойник внезапно обмяк и повис безжизненным комом. Заяц же, подгоняемый страхом, все волочил его по земле, пока не повалился обессиленный навзничь. Некоторое время он пластом лежал на траве, пытаясь справиться с дрожью, пронизывающей все тело. Наконец, собравшись с силами, он изогнулся насколько мог и перекусил застрявшую в его теле жилистую лапу.

На землю повалилась молодая серая сова. Она судорожно потянулась в последний раз и затихла. А раненый заяц неуверенными шаткими скачками отправился искать укромное убежище, где можно было бы передохнуть после стольких потрясений.

В лесу каждый из его обитателей лечится сам, кто как умеет. Заяц болел долго. Он пробовал дотянуться до загривка зубами, чтобы выкусить ненавистную лапу, катался по земле, пытался скосырнуть болезненный придаток задней ногой. Все было тщетно. Тогда, руководимый смутным чутьем, заяц стал выискивать по лесу какие-то горькие корешки, выбирал в болотистых низинах нужные ему лекарственные травы. Рана зажила, но когтистая совиная лапа так и осталась торчать из спины.

Проходили дни. Кончилась блаженная летняя пора, когда повсюду было довольно разнообразного корма, когда каждый куст гостеприимно предоставлял убежище. В сентябре после первых заморозков заскво-



зили в лесу нарядные осенние краски. Заалели гроздья рябины. Пожелтела и высохла трава на лесных лужайках. Ночных кормежек стало не хватать. Приходилось зайцу и днем пробираться в лесную глушь в поисках зеленой отавы.

Потом зашелестели надоедливые осенние дожди. Под порывами настойчивого октябрьского ветра лес постепенно раздевался. И вот однажды заяц с ужасом заметил, что лежит он под голым кустом, хотя еще утром был надежно спрятан под его широкими желтыми листьями.

С первым снегом пришла голодовка. Много ли проку в горькой коре осины да в прихваченных морозцем ветках? Нужда вынудила подбираться поближе к человеческому жилью, где можно было перехватить клоч сена из стога или поглотить на огородах сладких капустных кочерыжек. Здесь впервые пришлось познакомиться зайцу с собаками и человеком. В память об этом знакомстве унес он под шкурой несколько дробин. Некоторые ему удалось выкусить, остальные же так и заросли под кожей.

Зима застала зайца в новой одежде. Со своей короткой и редкой летней шубкой он не расстался, только поверх ее отросла другая — длинная, белоснежная: мягким и густым сделался подшерсток. Да и вся внешность зайца изменилась. В крупном горбоносом беляке никто не узнал бы прежнего наивного зайчонка.

Не раз испытав резвость своих ног, заяц начал было пренебрегать осторожностью, и один случай чуть не стоил ему жизни. Произошло это в начале зимы. Он возвращался с огорода вдоль крутого берега реки. Из-за ближнего косогора навстречу ему выскочила лиса. Заяц присел, сгорбился, готовый задать стрекача. Но хитрая лисица отвернула острую мордочку и уставилась вдаль, будто заметила там что-то весьма ин-

тересное. Затем грациозно прыгнула и принялась раскапывать снег лапами, поминутно утыкаясь в него носом. То были обычные приемы мышинной охоты.

Заяц, распластавшись на снегу, сохранял выжидательную позицию. Плутовка отскочила подальше и принялась копать так яростно, будто решила поднять настоящую метель. Наш знакомец решил, что успеет проскочить мимо. Но едва сделал первый прыжок, как лиса мигом перерезала ему путь. Смачно клацнули челюсти. Беляк отчаянно рванулся, оставил в зубах хищницы порядочный лоскуток шубы и единым духом вылетел на обрывистый склон. Лисица бросилась в погоню, но заяц был уже далеко.

С началом охотничьего сезона покой зайца частенько начали нарушать собаки. Настороженную тишину зимнего леса спугивал их азартный заливистый лай, и сухой треск выстрела возвещал кончину еще одного из сородичей. Немало их совершило свой последний путь в охотничьих сумках или болтаясь на сыромятном ремешке за спиной промысловика. Но ни одна борзая во всей округе не могла попробовать на зуб меченый загривок нашего беяка, ни одной гончей не удалось направить его под выстрел своего хозяина.

Иногда природа по крупинке собирает из десятков заячьих поколений ценнейшие качества, чтобы потом подарить их все разом одному избраннику. Таким счастливец и оказался наш герой. От одного из предков он унаследовал неутомимые быстрые ноги, от другого — редкостное чутье и острый слух, третий передал ему бесценный талант хитро запутывать свои следы. А петлять их беяк был великий мастер. Не раз, оставив далеко позади измученную собаку, он успевал построить из своих следов умопомрачительный, без единого выхода лабиринт, а затем с мудрым спокойст-

нием посматривал из укрытия на мучительные потуги нетерпеливой собаки найти продолжение его следа.

Наблюдательные охотники заметили: в лесу появился какой-то на редкость изобретательный заяц, который уводит собак далеко в чащу и там издевается над ними... Напрасно было звать разгоряченную погоней собаку обратно. Когда же иззябший обозленный охотник отправлялся на поиски сам, то убеждался, что и человеческому разуму нелегко постигнуть головоломки беляка.

Вот он саженными стежками простегал вдоль просеки свой особый неповторимый след. Вдруг возле какой-то коряги след обрывается, будто заяц в этом месте взмыл в воздух. Надо обойти на лыжах широченный круг, чтобы снова напасть на след в частом осиннике. Но здесь, меж тесно сдвинутых стволов хитрец так напетлял, что вовсе невозможно найти ни конца, ни начала. После долгих блужданий по рыхлому снегу, в котором и на лыжах увязнешь по пояс, охотник убеждается, что все петли следов замкнуты и выхода из лабиринта нет. С проклятьями ломится он сквозь чащу в поисках места, где беляк сделал очередную скидку.

Вот, наконец, в буреломе, куда, казалось бы, можно попасть только на крыльях, обнаружена новая стежка. След увел километра на три в глубь леса, оборвался, появился вновь в колючем ельнике. Здесь все новые и новые петли, сдвойки, скидки... Один ребус следует за другим; наконец размашистый след приводит охотника снова в знакомый осинник. Конечно, после стольких мытарств несчастный рад-радешенек, если разыщет свою полумертвую от усталости собаку.

Так за всю зиму никому не только не удалось взять на мушку, но даже взглянуть хоть одним глазком на

удивительного зайца. Только на другой год местному лесничему посчастливилось любоваться им издали. Но недешево обошлось ему это удовольствие.

Однажды после многочасовой гонки по колкому мартовскому насту его знаменитая медалистка Леда перестала вдруг подавать голос и не являлась на призывный зов охотничьего рога. Обеспокоенный хозяин отправился по следам и на далекой лесной поляне обнаружил в бинокль свою любимицу распростертой на снегу. Поблизости от нее сидел на задних лапах редкостно крупный красавец беляк и спокойно умывался. Лесничий успел заметить, что в загривке зайца торчит лапа какой-то хищной птицы.

Подожвы у собаки были изодраны настом до самых костей. Несмотря на помощь ветеринара, она через два дня сдохла. Лесничий совсем потерял голову. Он посулил большие деньги за тушку невольного убийцы. Этот приз и тщеславное желание повесить через плечо легендарного беляка взбудоражили местных охотников...

Началось ожесточенное преследование. Во всей округе не осталось такого владельца ружья, который не попытал бы своего счастья в интересном состязании.

Найти зайца было довольно просто. С непостижимым постоянством он продолжал устраивать дневку под одной и той же поленицей в чаще леса. Но застать чуткого зверя на месте было совершенно невозможно. Каждый раз собака утыкалась в свежий след, уходящий от поленицы к ближней просеке.

Обычно зайцы, спасаясь от преследования собаки, описывают по лесу большой замкнутый круг, и опытный охотник без труда определяет место, где выгоднее стать с ружьем, чтобы встретить косого. Но никому пока не пришлось разрядить ружье в меченого беляка.

— Академик! Сущий академик в своем деле! — отзывались о нем охотники. Померзнув несколько дней кряду в лесу, до полусмерти загоняв собак, охотники один за другим оставляли бесплодную травлю. Лишь одна надоедливая собака — дочь погибшей Леды — изо дня в день продолжала гоняться за нашим беляком. Только весенняя распутица избавила его от ее яростного преследования.

Прошло еще одно лето, отшумели в лесу шальные осенние ветры, и с первой порошей снова понеслась ненавистная собака по четкому следу своего неуловимого врага...

Вот тут-то и сказался длительный перерыв. За лето беляк порастерял былую осмотрительность и, не учуяв подкравшегося охотника, промчался недопустимо близко от него. Грохнувший сзади выстрел оглушил зайца.

Рана была пустяковой, но подшибленный на громадной скорости беляк полетел кувырком и крепко ударился обо что-то головой. Очнулся он, когда собака рванула его зубами за спину. Заяц свился в тугую пружину, наугад полоснул мощными задними лапами. Раздался дикий пронзительный визг, и пес отскочил в сторону. В тот же миг сильная рука сдавила уши зайца. Вскинутый на воздух беляк все еще изворачивался и бил во все стороны длинными жилистыми ногами...

Лесничий так и не успел нащупать у пояса нож. Острая кость совиной лапы вонзилась ему в руку возле кисти, и оглушающий удар в лицо заставил разжать пальцы. Пленник же, оказавшись на снегу, не замедлил применить ноги по их прямому назначению.

...Не знал заяц, отлеживаясь под привычной поленницей и зализывая ранку в боку, что летает по окрестности крылатая слава о нем. Не ведал, во что це-

нится его ушастая голова, над которой уже собирались новые тучи...

В тот час, когда лесничий, поджидая приглашенного издалека ветеринара, неумело прилаживал повязку на грудь раненой собаки, в гости к нему заявился старинный друг — председатель охотничьего общества, страстный любитель и знаток зимней охоты. Он приехал побродить с ружьем по первой пороше и, кстати, похвастаться перед другом-лесничим своей прекрасно вышколенной собакой.

Прослушав горестный рассказ хозяина, гость ухмыльнулся:

— Я подумал — на медведя напоролись. А оказывается, зайчишка вас с собакой отделал! Н-да... де-лишки!

Лесничий, потирая опухшую щеку, неприязненно глянул на собеседника.

— Хочешь пари?.. Если ты со своим Рогдаем этого «зайчишку» за один день возьмешь, отдаю тебе свое ружье. Ему, как ты знаешь, цены нет. Если же до вечерней зари не добудешь зверя, уедешь отсюда без собаки. Идет?

Обладатель золотой медали — чистокровный арлекин Рогдай, рослый, мускулистый красавец с темными подпалинами на светло-каштановой шкуре, услышав свое имя, вскочил с пола, положил на колени хозяину свою умную голову и весело вильнул хвостом...

Три дня никто не тревожил зайца. Эти три дня поджентльменски подарил ему охотник на поправку, чтобы сделать более интересным предстоящее состязание.

На четвертое утро, вернувшись с ночной кормежки, заяц только задремал, как вдали послышался подозрительный скрип. Сомнений не было: так поскрипывает мерзлый снег под охотничьими лыжами. Легкими

скачками беляк добежал до знакомой просеки и присел, вслушиваясь.

Сегодня ему особенно хотелось покоя. Рана еще не совсем зажила и при каждом движении напоминала о себе острым покалыванием. Но вот вдаль отрывисто твякнула собака... На отдых рассчитывать не приходилось.

Заяц выскочил на просеку и помчался широкими махами, чувствуя, как нарастает привычный свист ветра в ушах. Лай позади не затихал и не отдалялся. Беляк понял, что на этот раз имеет дело с серьезным противником. Здешних собак он уже знал наперечет, с этой же ему приходилось состязаться впервые.

Если б не боль в боку, бежать было б совсем легко. Вчера весь день падал мокрый снег, и ночной морозец подковал его сверху крепкой скрипучей коркой.

Просека вывалась в поле. Беляк промчался вдоль опушки и вновь шмыгнул в лес по извилистому ложу замерзшего ручья. Местами на пути встречались заросли густой, сцементированной снегом осоки. С треском проламываясь вперед, заяц заметил, что азартный лай позади доносится отчетливей. Видимо, собаку не особенно задерживали эти густые заросли. И все же заяц решил немного передохнуть.

Вырвавшись на открытое место, он сделал бешеный разгон и перед очередной зарослью осоки мощным трехметровым скачком махнул в сторону — под куст тальника. Оттуда метнулся на ствол горбатого кленка и замер на нем, обернувшись в сторону преследователя.

Собака с разгона перескочила через осоку и, не обнаружив за нею следа, затормозила выставленными вперед лапами. Лай сразу оборвался. Некоторое время обескураженный пес вертелся на месте, то вскидывая голову, то утыкаясь носом в снег. Наконец убедившись,

что его провели, он жалобно, по-щенячьи заскулил и бросился назад. От места, где оборвался след, он побежал кругами, по спирали, высоко задрав влажный нос, как это делает всякий умный гончак, когда хочет обнаружить «верхним» чутьем затаившуюся неподалеку дичь.

Едкий морозный ветерок скользнул в сторону собаки. Бездействовать далее становилось опасным. Улучив момент, когда гончак обернулся спиной, заяц прыгнул на снег и помчался сквозь чащу снова к опушке. Ему удалось доскакать до своего старого следа, пока вдали вновь раздался приглушенный лай. Это означало, что арлекин напал-таки на след. Но сейчас у зайца был значительный выигрыш в расстоянии, и он воспользовался этим, чтобы задать преследователю задачу посложнее. Стараясь попадать лапами в свои прежние следы, беляк сделал стремительный разбег, отмахнул на черневший в стороне пенек, с пенька пулей пролетел мимо ствола молодой березки, оттолкнувшись от нее задними лапами. Затем, едва царапнув когтями полусгнившую колоду, отскочил под взъерошенный куст можжевельника. Таким образом хитрец оказался в двадцати метрах от ручья, не оставив позади ни единого следа.

Тут заяц не спеша умылся, повозился на снегу и расположился на отдых.

Собака с лаем промчалась мимо и исчезла за поворотом. Прошло немало времени, пока она, obeжав многокилометровый круг, снова показалась у опушки. На этот раз арлекин семенил неторопливой трусцой, ведя нос по следу и нетерпеливо повизгивая. В том месте, где заяц скинулся со следа, собака вдруг заметалась, припадая на передние лапы и снова пошла кругами. Догадливый пес точно определил границу, где след терял свой острый запах.

Передышка закончилась. Под прикрытием куста беляк начал отступление.

Он умчался на несколько километров в глубь леса, замкнув свои следы в широченный круг, сделал новую скидку и залег за сосновым стволом.

Преследователь не заставил себя долго ждать. Едва он с победным лаем вырвался из чащи и устремился по свежему следу, заяц выскочил из своего укрытия и заковылял позади него.

Долго продолжалась эта странная игра. Беляк несколько раз скидывался со следа в сторону и представлял собаке пробежать пару кругов в одиночку, затем, пропустив гончака вперед, снова выскакивал на круг и освежал след...

Арлекин выбивался из последних сил. На снегу все чаще появлялись кровавые мазки от его содранных ног. Он то и дело спотыкался, шатаясь, скакал на трех ногах, наконец повалился на бок и принялся вылизывать израненные лапы. Поджарый, мокрый, с подведенным брюхом, он представлял сейчас довольно жалкое зрелище. Беляк терпеливо ждал.

Вдали призывно затрубил рожок. Собака ответила жалобным визгливым лаем, но не поднялась с места. Заяц прыгнул в сторону и поскакал прочь. Арлекин с оглушительным ревом кинулся в погоню.

Кончался короткий зимний день. В голосе собаки зазвучали нотки смертельной усталости и тоски. Поочередно поджимая израненные лапы, она проковыляла последний круг и со стоном повалилась на снег. На этот раз у нее даже не хватило сил ответить на зов охотничьего рога, который раздавался все настойчивее и ближе.

Из-за елки показались два охотника. Молодой бросился к собаке, порывисто прильнул к ней, торопливой дрожащей рукой застегнул поводок на ошейнике,

сунул конец поводка второму охотнику и, не оглядываясь, заспешил прочь. Оставшийся — седоусый старик в дубленом полушубке — бережно поднял собаку на руки и осторожно пошел с ней на своих широких лыжах в другую сторону.

Когда замер вдали скрип его лыж, заяц отер мордочку лапой, полизал ноющий бок и поскакал в знакомый осинник глотать кору.



ДЕДУШКИН ТРОФЕЙ

— МУРКА!.. Ну, Мурка, что ль! Я поглажу тебя... Можно?

Мурка притворяется, что не слышит. Даже ухом не поведет. Загадочные янтарные глаза ее устремлены куда-то вдаль, за окно, где синеют лесистые горы. Алка робко протягивает руку и тотчас прячет ее за спину: Мурка, не поворачивая гордой головы, вздергивает верхнюю губу и обнажает белоснежный клык.

Вот уже вторую неделю гостит Алка у дедушки, а Мурка по-прежнему отвергает ее дружбу. Дедушка может делать с Муркой все, что хочет, — тормошить, почесывать за пушистыми бакенбардами, даже сунуть руку в ее жуткую широкую пасть. Алке же хоты бы только погладить. Это должно быть так приятно! Шерстка у Мурки гладкая, шелковистая, желтая с каштановыми подпалинами. Кажется, будто на боках и спине у нее всегда колышались солнечные зайчики.

Хорошо бы также потрогать пушистые кисточки на ушах... Но разве Мурка позволит? Единственно, до чего еще снисходит горячка, это брать у Алки из рук лакомые куски. Да и те принимает самыми кончиками зубов и потом брезгливо трясет мордой.

Дедушка говорит, что Мурка еще котенок — ей всего два года. Алка верит и не верит: хорош «котенок», если достает передними лапами дедушке до плеч и лижет его в лицо!

В рабочем кабинете у дедушки на обрубке толстущего дерева притаилась Муркина мать. Алка знает, что это всего-навсего чучело, но оставаться одна в кабинете боится. Уж больно похожа на живую!

Громадная рысь изготовилась к прыжку. Тугой пружиной свилось мускулистое тело. Могучие лапы не оскользнутся — когти глубоко вонзились в кору. Уши прижаты, пасть хищно оскалена, а глаза! Ну так и горят! Куда ни спрячешься, все кажется — они следят за тобой. Отлично ведь знаешь: не настоящая она — чучело! И все равно думается: «А вдруг!...» Нет, уж лучше снова вернуться к живой Мурке.

Та все еще сидит на кушетке, неподвижная, как изваяние, смотрит в окно и думает, думает о чем-то. Повеет из открытой форточки ароматом смолы, Мурка вздрогнет, поведет носом и снова окаменеет, углубляясь в свои думы... О чем она думает? Может быть, скучает о дедушке? Он еще на рассвете ушел в заповедник, обещая скоро вернуться, однако близится полдень, а его все нет.

Алка снимает со стены бинокль, выходит на крыльцо и удобно пристраивается на перилах. Пусть-ка теперь гордячка Мурка потоскует в одиночестве! Алке же и без нее не скучно. Ей не надоедает часами просиживать вот здесь и уноситься взглядом в прозрачные дали.

Рыхлые облака плывут в вышине, цепляясь за скалы, и синие тени их скользят по ледникам и ущельям. Там из тысяч ручейков зарождается буйная речка, что стремительно мчится по долине. Вот только горе — купаться в ней нельзя: даже в июльский зной вода в реке страшно холодна и пахнет весенним снегом.

Если медленно, терпеливо вести бинокль вдоль горных хребтов, можно на каком-нибудь камне заметить дикого горного козла. Иногда в волшебном стекле промелькнет быстроногий олень или степенно прошествует стадо крутолобых зубров. Случилось видеть однажды, как осторожный медведь вышел из леса в

долину, понюхал воздух, задрал морду, и не спеша повернул обратно в чашу.

Но на этот раз упорно не везет. Устали руки держать тяжелый бинокль, а кроме вертлявой сороки на еловой вершине, так и не удалось никого подследить. Сорок же и в городе можно насмотреться, не стоило из-за них ехать в Кавказский заповедник.

Со скуки Алка бредет в летний флигель. Здесь у дедушки целый музей. На полках, на стенах, в стеклянном шкафу и просто на полу — повсюду в разных позах замерли, словно по волшебству, птицы и звери. Орел с раскинутыми крыльями парит под потолком, медленно вращаясь на проволоке. Духовка в печи и та занята — оттуда торчит острая мордочка хорька. На столе валяется несколько необработанных шкур, растянутых на колодки.

Сам дедушка охраняет обитателей заповедника и охотится лишь на волков и рысей. Алка гордится, что сделанные дедушкой чучела красуются под стеклянными колпаками даже в музеях Москвы. Удивительно, как только он умеет это? Вот хотя бы этот волк. Ну совсем ведь живой! Спешил куда-то по своим волчьим делам, но услышал Алкины шаги и остановился, словно дожидаясь, когда она исчезнет. Передняя лапа так и повисла в воздухе... Совсем живой. Даже пальцем коснуться боязно. Разве прижмуриться...

— Укусит! — обрушивается сзади неожиданный голос. Алка ойкает, шарахается в сторону. Очень довольный шуткой, дедушка смеется от души. На лице его, прокаленном под горным солнцем, серебрится давно не бритая щетина, а глаза будто полиняли — стали совсем светлыми, почти прозрачными. Алка повисает на крепкой дедушкиной шее и с удовольствием вдыхает лесной запах, которым пропиталась его рубашка.

— Что же ты так долго не шел? — обиженно тя-

нет она. — Я ждала, ждала! И Мурка тоже соскучилась.

— Ну-ну, не сердись! — ласково гудит дедушка. — Зато разыскал я их наконец.

— Кого?

— А вот тех пятнистых олешек, которых из Приморья к нам завезли. Помнишь, я рассказывал тебе? Разбежались, бесенята, по лесам кто куда, а теперь снова стадом собрались. Тропу ихнюю нашел. Завтра опять чуть свет отправлюсь, пересчитать надо, все ли уцелели. Хочешь, тебя возьму. Они не так уж далеко от нашего кордона поселились.

Алка в восторге запрыгала на одной ножке.

— Мы их увидим, дедушка?

— Может, самих-то и не увидим, но следы все расскажут. Пойдем-ка обедать, да и собираться пора. С ночевкой отправимся, не то устанешь с непривычки. Мурку же дома запереть придется.

Заслышав на дворе дедушкин голос, Мурка заметалась по комнате и заскребла когтями по двери. Еще на пороге она облапила сапог хозяина, опрокинулась на спину, вскочила, взбрыкнув широкими лапами, кинулась дедушке на плечи, задержала куцым хвостом, словом, уж и не знала, как выразить беспредельную свою радость...

Далеко внизу, в темнеющей долине вьется река, словно ленточка, упавшая с зоревоего неба. Последний розовый луч подбирается к вершине дальней горы. Откуда-то сверху доносится ровный монотонный гул водопада.

Алка лежит в каменной нише, выстланной пахучими еловыми ветвями, и с наслаждением вытягивает онемевшие от усталости ноги. Приятное тепло лучится от нагретой за день скалы. На ровной, как стол, каменной плите потрескивают в костре сухие сучья.

В котелке пузырится, булькает каша. Дедушка помещивает ее длинной оструганной палочкой и протяжно вздыхает. Видно, все еще не может успокоиться.

Сегодня они обнаружили среди каменных завалов останки погибшего оленя. Дедушка швырнул камнем в стаю воронов, облепивших бурую грудку, велел Алке подождать в сторонке, а сам долго стоял там, потупясь.. Вернулся сумрачный, молчаливый.

— Кто это его? — осмелилась спросить Алка, когда они удалились от жуткого места.

— Рысь. Кому же еще! Ее манера, да и следы ее там, — угрюмо отозвался дедушка и больше не заговаривал всю дорогу. Молчит и сейчас.

Налетел ветерок, повеяло морозной свежестью ледника. Пламя в костре расстелилось понизу и снова взвилось вверх.

— Дедушка, ну расскажи что-нибудь! — просит Алка, подползая к огню. — Ты все молчишь и молчишь. На рысь сердишься, да?

В свете костра лицо дедушки отликает бронзой, глаза устало прикрыты.

— Что же на нее сердиться? На то она и хищница. Не травой же ей питаться!

— Ты... ты убьешь ее, дедушка?

Дедушка молча снимает котелок, ставит на камень и копается в рюкзаке, нащупывая ложки.

— Ешь, Алка. Спать пора. Смотри-ка — вон уж и звездочки засветились.

Алка зачерпывает полную ложку, прищурясь, вдыхает аппетитный парок и неохотно вываливает кашу обратно в котелок.

— Горячая — есть нельзя! Пусть остынет. А ты, дедушка, расскажи пока, как ты Мурку поймал.

— Не ловил я, внученька. Сама пришла.

В удивленно раскрытых глазах Алки прыгают отблески огня.

— Домой к тебе пришла?

— Так уж и домой! — Дедушка улыбается, машинально поворачивая сучья в костре. — Расскажу, коль спать не хочешь. От тебя же все равно не отвяжешься. И каша к тому времени поостынет.

Случилось то, Алка, позапрошлый год, весной. Отправился я проведать, не вывелись ли детеныши у енотовидных собак. А надо сказать, хитрющие эти собачки по нашим местам новоселы, а гнездовища свои так ловко прячут, что сразу-то и не найдешь. Вот и возвращался я под вечер домой усталый, голодный и не в духе — так за целый день ни одной семьи не нашел. Спускаюсь, значит, с горы через лес. Ружьишко за плечами, как положено. Всякое может случиться — весна же, а весной у зверья детишки, родители отановятся беспокойны, подозрительны.

Иду себе, замечтался и забрел в такую чащобу — ног не вытянуть. Горный обвал там был когда-то. Деревьев понавалено, сучьев поналомано — страх сколько. Лезу это я сквозь завалы, поругиваюсь про себя. Вижу вдруг на буковом суку, высоконько этак, рыженький котенок сидит, детеныш рысий. Сам ли туда забрался, мамаша ли затащила, чтобы не обидел кто, пока она охотится, не знаю. Только сидит себе этот младенец, хвостик щеточкой вверх держит и шипит — меня напугать старается.

Не скрою — была мыслишка снять паршивца и за пазухой домой принести. А рысенок вроде думки мои прочитал: как запищит вдруг, да так-то пронзительно, будто я его уже за хвостик тяну.

Ну, думаю, сейчас мамаша пожалует. Только бы со спины не кинулась. Это их излюбленный прием: всегда коварная из засады в спину целится.



Схватил я ружьишко на изготовку и — к скале, что неподалеку. Там уж, хочешь — не хочешь, пришлось бы рыси лицом к лицу со мною встретиться. Чую — спешить надо — рысенок визжит — надрывается. Тут же, как нарочно, поваленная сосна на пути. Пригнулся я, чтоб под ней проскочить, вдруг — шасть мне кто-то на плечи! Спину будто огнем обожгло. Упал я, но в горячах сумел как-то на четвереньках выскочить из-под дерева. Ружья даже не выронил. Оглянулся, а она, злодейка, уж на поваленном дереве сидит. Подобралась вся, локти выше хребтины торчат, уши назад заложила. Ну так вот в точности, как чучело-то дома. Помнишь, поди?

— Это она и была? Та самая, Муркина мать, да? — испуганно прошелестела Алка.

— Она... Давай, однако, кашу-то есть. Остыла уже.

— Горячая, горячая еще! Рассказывай, дедушка!

— Стоит ли такое на ночь? Спать еще беспокойно будешь.

— Нет, нет, рассказывай!

— Ну, слушай, коли так... На чем, бишь, мы остановились?

— Ты оглянулся, а она на дереве.

— Да... Так вот, внученька, как ни быстра мысль человеческая, а все же в тот миг ничего еще не успел я сообразить. Будто кто-то со стороны подтолкнул к плечу ружье: «Стреляй!» Я и бахнул. Картечью было заряжено...

Потом-то понял — рысь кинулась в тот момент, как мне под дерево лезть. Ткнулся я ничком под тяжестью, а она, видно, — мордой об ствол. Пришлось ей когтищи-то убирать из спины, не то было бы мне худо.

На дерево она взметнулась, чтобы ловчее во вто-

рой раз атаковать. Только опередил я ее — грохнулась наземь, только сучья под ней хрястнули.

И вот... недаром столько историй об охотничьей самонадеянности рассказывают. Мне бы, старому, бежать, пока еще сил сколько-то уцелело, а я — к ней. Наповал, думал. Сгоряча и не почувял, что рубашка уж к разорванной спине прикипела. Ни боли, ни страха — ничего поначалу не чувствовал. Одеревенел будто. Только склонился я над «покойницей», вскинулась она на передние лапы да ко мне! Шерсть на ней дыбом, желтые глазищи так и полыхают!

Испугался я, Алка, чего уж скрывать! Ружье выронил. Нагнуться бы за ним, а я — бежать. Да где там — пяти шагов не убежал, снопом повалился: спину-то до костей ведь подрала, окайная.

А рысенок визжит пуще прежнего. Оглянулась на него мать и снова ко мне. Зад у нее перебитый, по земле волочится, но живуча, как все кошки, поразительно просто. Добралась до ружья — только щепки от кленового ложа полетели.

Теперь, думаю, очередь за мной. У нее клыки, когти. А я без оружия что за вояка? Да раненый к тому же... И вправду — не успел отдышаться, а она, подлая, тут как тут. Хрипит, пасть раззявлена, псиной пахнет, а глаза — что угли, так и полыхают!

Да, Аллочка, всякое приключалось со мной: семь лет на фронтах провел, и лавины-то на меня рушились, и в лесной пожар попадал, и со скалы срывался, но такого страха еще не испытывал.

Дедушка умолк, опершись подбородком на ладонь. В тишине явственной проступил гул далекого водопада. Падучая звездочка голубым светлячком черкнула по небу и завязла в темных вершинах лиственниц.

— Ты, Алка, маме только не пересказывай эту

историю! — строго предупредил вдруг дедушка. — Слышишь? Не то она никогда тебя на каникулы ко мне не отпустит. Да и обо мне начнет беспокоиться. А понапрасну. Звери у нас все мирные живут. Волки с рысьями редкость уже, хоть и не все еще истреблены. Вольготно им здесь — корма богато, да и животные в заповеднике не такие сторожкие, как в прочих местах.

— Я не проболтаюсь, — пообещала Алка. — Ты, дедушка, только доскажи, чем у вас кончилось тогда, с рысью-то.

— Чем кончилось? Хоть верь, хоть не верь, только ведь живой остался. Честное слово. — Дедушка лукаво усмехнулся, подбросил сучьев в костер и прикрыл ладонью глаза, потому что ослепительно яркий сноп искр с треском взвился в черное небо.

— Чем кончилось, спрашиваешь... Дополз-таки я до скалы. Все было словно в тумане. Об одном забота — не навалилась бы проклятая на ноги: все время позади хрип ее слышал... Дополз, уперся в каменную стену, дальше отступать некуда. Обернулся, а рыжие бакенбарды — вот они, рядом!

«Ага — хрипит рысь. — Теперь ты никуда от меня не денешься!»

— Рыси не разговаривают, — чуть слышно поправила Алка.

— Не разговаривают? Значит, показалось мне тогда. Во всяком случае, по виду ее было заметно, что раньше меня на тот свет она не собирается. Я тоже тогда не спешил. Нащупал камень острый, какой поднять смог, присел на колени, жду... Давай однако кашу-то есть, совсем уж холодная стала.

— Ну, дедушка! Нарочно, что ль, ты? — возмутилась Алка. — Досказывай, потом поедим.

— Вот ведь неугомонная! — проворчал дедуш-

ка. — Знать бы, и не затевал этой истории. И без того ведь ясно — если жив остался, моя, значит, победа была. Вдвоем-то не могли мы уцелеть... Ну, кинулась рысь, а я уж наготове был. Камнем ее... да не раз, наверно. Потом уж и не помню ничего. Глаза синева бездонная ослепила — небо, наверно, промелькнуло, падал когда. Очнулся ночью. Лежу на чем-то мягком. Пощупал — рысь. А рядом кто-то живой копошится. Оказалось — рысенок маленький. Прижался ко мне, попискивает жалобно. Видно, мать искать отправился да и пригрелся возле меня. Попробовал я пошевелиться — боль такая, что в глазах мутится. Пить очень хотелось. Рысенку, заметно, тоже не по себе: пищит, мордочкой в бок мне тычется. Так и провели с ним вместе эту холодную ночь. Ох же и длинной она мне показалась! Главное — жажда мучила. А где-то, совсем рядом, ручеек по скале бежит. Журчит этак заманчиво, дразнит будто.

На рассвете не выдержал — пополз. И рысенок со мной увязался. Лезет рядышком, с боку на бок переваливается. Добрались все же. Напился сам, кончик рубахи смочил и рысенку дал пососать. Успокоился малыш, пищать перестал.

А потом в три приема добрались мы с сиротой до ружья. Один ствол исправным оказался. Воткнул я обломок приклада в землю да и палю себе с интервалами. Все патроны извел — выстрелов пятнадцать, должно быть, дал. Рысенок с перепугу совсем обезумел — лезет ко мне под рубаху, да и только!

На счастье, альпинисты неподалеку ночевали. Пришли. Просил их шкуру сбечь рысью, тогда еще замыслил вещь из нее сделать знатную.

Две недели в больнице провалялся, а Мурку тем временем жена завхоза нашего молоком выпаивала. Вернулся из больницы — к себе зверушку забрал. А

сейчас, сама видела, какая красавица выросла. Жалко расставаться, а ничего не сделаешь. Приедет экспедиция зооцентра зверей забирать, отдам и Мурку. Прокормить такую, и то маяты сколько.

— А я бы после такого ничуть не жалела, — угрюмо пробурчала Алка.

— Ну, Мурка, положим, во всей этой истории вовсе ни при чем. А если как следует, по-человечьи, разобраться, то и мамашу ее строго судить нельзя: детеныша своего защищала, себя не жалеючи. Урон большой от них, и уничтожать их приходится, только злиться на зверя не следует — человеческая мерка для них не подходит... Бери-ка ложку, Алка, ешь! Завтра чуть свет разбужу.



МНЕ БЫЛО лет восемь, когда состоялось наше необычное знакомство, его же возраст только еще начал измеряться месяцами. С ломтем белого хлеба в зубах он удирал от ватаги орущих мальчишек, а вдогонку ему летели тяжелые городошные палки и камни. Я бежал следом за всеми и плакал от ненависти к мальчишкам и невозможности помочь щенку. Крышка от бидончика где-то потерялась, молоко расплескивалось мне на колени, на новенькие сапожки...

Сознание беспомощности было тем мучительней, что минутою раньше я чувствовал себя таким большим и сильным! В тот день меня впервые послали одного с ответственным поручением — купить молока на базаре. Я старался вышагивать широко и твердо, чтобы все слышали, как скрипят настоящие «мужские» сапоги, позвякивал мелочью в кармане и насвистывал неумелыми губами какую-то «взрослую» песенку.

Обычно на незнакомых улицах я обходил стороной любую ребячью компанию. На этот же раз, упиваясь собственной отвагой, нарочно остановился поглазеть, как на солнечной стороне, у забора, ватага босоногих мальчишек играет в городки. Отцветала вишня, снежинками лепестков осыпая молодую травку под забором. На замшелой тесовой крыше мирно ворковали голуби.

Рядом со мной оказался еще один болельщик: упитанный, лет пяти карапуз мусолил ломоть пшеничного хлеба и вяло отбивался от худого, видимо, бездомного щенка. Как только ни ухищрялся песик, чтобы привлечь к себе внимание: взлаивал, подскакивал на

задних лапах, неистово крутил хвостом! Все понапрасну — малыш не отводил замороженного взгляда от мелькавших в воздухе палок.

Перехватив бидончик в другую руку, я отправился восвояси. Но не успел отойти десяти шагов, как услышал позади отчаянное:

— Бей! Бей! Держи его!

Должно быть, воришка был ужасно голоден, если, уронив ломоть, вернулся, чтобы подхватить его. В этот миг и настигла беднягу тяжелая палка... В толпе преследователей бурное ликование — щенок с визгом опрокидывается через голову и, волоча подшибленную ногу, протискивается в ближайшую подворотню. Мальчишки, помешкав, возвращаются.

— Если еще придет — прикончу! Палкой по башке — и готово! — Белобровый веснушчатый крепныш с трудом переводит дыхание. — Ишь, повадился, гад, хлеб отнимать у маленьких!

Неприятный холодок все еще пробегал у меня по спине, пока я разыскивал в чужом дворе обреченного щенка. Обнаружить его было непросто: в узкой щели между мусорным ящиком и сараем злополучный щенок зализывал ссадину на боку. Заметив, что выход из его убежища отрезан, бедняга попятился назад, будто собирался втиснуть худенькое тело в кирпичную стену, и тихонько заскулил от ужаса.

— Кутик! Кутик миленький! — позвал я его, приседая на корточки. — Ну поди ко мне, поди, мой хороший!

Песик почуял ласку в моем голосе и умолк.

— Ну, выйди, собаченька, выйди! — уговаривал я, протягивая руку. Кутенок насторожил одно ухо и неуверенно вильнул хвостом. Прошло немало времени, пока он отважился покинуть свой угол. Он подползал

ко мне на животе, извиваясь всем телом, вздрагивая и отводя голову в сторону на случай внезапного удара. Он еще не совсем верил мне, но тем не менее приближался, дробно поколачивая хвостом по стенке мусорного ящика.

Наконец я могу дотянуться и погладить повинную голову. Щенок мигом преображается: он жадно лижет мне руки, вьюном вертится у ног, взвизгивает от радости. В найденный черепок я наливаю немножко молока. Теперь дружба скреплена окончательно: за угощение, за минутную ласку щенок готов простить людям все их прегрешения.

У него симпатичная крупная голова, вислые, бархатистые на ощупь уши. Над блестящими карими глазенками горят пламенно-желтые пятнышки. Черная полоса вдоль спины на боках переходит в дымчато-бурый цвет подпаленного дерева. Широкие лапы — в чистеньких белых чулочках.

— Что ж, пойдем, приятель! Пусть достанется нам дома за самовольство, но тут нельзя тебе оставаться.

Щенок согласен со мной хоть на край света. У калитки, правда, заколебался: опасно выглянул на улицу и прижался к ногам — вдалеке, у забора, по-прежнему швыряют палки мальчишки.

— Смелее! — ободряю я. — Они не заметят.

И кутенок решается — выскакивает из калитки и семенит впереди, искусно прячась за мои ноги.

Маму ничуть не обрадовала моя находка. Но во время затянувшихся переговоров у кутыки был такой трогательный, просящий и виноватый вид, что ей не оставалось ничего другого, как махнуть рукой:

— Ладно уж, пусть остается! Валетом, что ли, назовем?

Детство его пролетело как-то совсем незаметно, я почти не помню Валетку маленьким. Запомнилось,



что при появлении старших в коридоре мой увалень считал своим долгом вскакивать с подстилки и вежливо вилять хвостом. Безграничное добродушие его уже в ту пору удивляло и сердило меня. Мне, например, было обидно за щенка, когда ожиревший нахальный кот Мур безнаказанно выбирал у него из-под носа лучшие куски. Помню еще, как впервые залился Валет солидным басовым лаем и лукаво скосился на меня, шельмец: послушай, мол, голосок-то каков!

А дальше в моих воспоминаниях Валет представляется уже взрослой красивой собакой. Вот он, распластавшись над землей, вихрем несется мне навстречу, круто тормозит и почтительно, бережно принимает из рук ученическую сумку. Теперь до самого дома потащит ее в зубах, гордо вскинув голову и смешно кося глазами по сторонам — не собирается ли кто посягнуть на доверенное ему добро?

А вот, впряженный в санки, мчит меня Валетка размашистым галопом по улице. Щуришься, бывало, от встречного морозного ветра, от снежной пыли, и жутковато становится и радостно.

Недужинная сила, как это нередко бывает, уживалась в моем любимце с поистине голубиным миролюбием. Двухлетняя сестренка моя могла вытворять с ним что угодно. И за уши его таскала, и за хвост, и верхом на него садилась. Терпеливый пес только жмурится устало: что, мол, с ней поделаешь, маленькая еще!

Привяжется к нему какая-нибудь вздорная собачонка на улице и ну истерику закатывать! Визжит, захлебывается лаем, слюною брызжет, того и гляди наизнанку вывернется от злости. Валетка никогда не унижится до драки, хотя мог бы прикончить забияку одним ударом лапы. Если уж совсем иссякнет терпе-

ние, остановится выжидательно и слегка повернет набок голову: что, мол, дальше следует, а ну!

Прием действовал безотказно — тяткуша мгновенно немела и ретировалась с поджатым хвостом.

Собачья преданность вошла в поговорку, и Валет не представлял в этом смысле исключения. Стоило мне на час-другой задержаться в школе либо у товарища, лохматый друг мой отправлялся на розыск, а при встрече радовался так бурно, будто уж и не чаял видеть меня в живых.

Однажды летом проводили меня на целый месяц к бабушке в деревню. В запоздалом письме из дома, как упрек моей беспечности, содержалась приписка и о Валетке. Он захворал на другой же день после моего отъезда — почти не притрагивался к пище, похулевший, обессиленный, часами просиживал на крыльце, с тоскою глядя на дорогу. А ночами вскакивал вдруг, бежал к моей постели и надолго замирал перед ней, положив голову на одеяло.

Зато после разлуки Валет даже на час боялся потерять меня. Куда бы я ни направлялся, неуспынный телохранитель мой всеми правдами и неправдами увязывался следом. Если я настойчиво прогонял его, он делал вид, что уходит, а сам прятался, хитрец, за прохожими и появлялся у самых ног на какой-нибудь дальней улице, откуда, он знал по опыту, его уже не прогонят.

Однажды в конце июля мы возвращались с ним из леса. Несносная жара разморила меня настолько, что я плелся, как во сне. Маленький мешочек с орехами, казалось, тяжелел с каждым шагом. Валет чуть не до земли свесил мокрый язык и содрогался от частого сиплого дыхания.

... Поначалу странное поведение прохожих не затронуло моего внимания. Кто-то с криком пробежал

через улицу. Хлопнула калитка, другая. Валет раньше обнаружил опасность. Он толкнул меня боком, как бы предлагая бежать, а сам словно изготовился к бою. Впервые я видел своего добродушного увальня таким взъерошенным и страшным. Валет напряжился и грозно зарычал сквозь оскаленные зубы.

Я оглянулся, но опять ничего не понял. По тротуару шаткой неуверенной трусцой бежала обыкновенная собака с низко опущенной мордой и повисшим, как полено, хвостом.

— Беги, мальчик, быстрее! Бешеная! Беги! — крикнул мне кто-то с крыльца магазина.

В памяти мгновенно прорезались все жуткие рассказы о бешенстве, о муках водобоязни. Ноги сделались вдруг вялыми и непослушными. Но добежать до магазина я бы, очевидно, успел, если б не опасение за друга.

— Валетка! — закричал я. — Не смей ее трогать. Слышишь? Бежим! Прочь, Валетка!

...Как я раскаивался, как мучился потом, вспоминая эту сцену! Разве мог Валетка оставить меня одного? Мне бы, неразумному, бежать первым! Тогда бы и он вынужден был ради моей безопасности держаться рядом, прикрывать мое отступление.

Бешеная собака меж тем приближалась. Уже видны были налитые кровью глаза, хлопья спадающей с языка пены. Какую-то секунду Валет колебался. Я хорошо чувствовал, что он испытывает панический инстинктивный ужас именно перед этой собакой. Но ради моей безопасности надо было подавить в себе этот первобытный ужас. И, бросив на меня укоризненный взгляд, Валетка ринулся навстречу собственной гибели.

Не могу сказать, как долго продолжалась борьба. В висках у меня гулко стучала кровь, перед глазами

в горячей пыли, хрипя, вертелись сцепившиеся собаки, кто-то истошно кричал невдалеке. А я, как прикованный, стоял на месте, и не только в голове, а, казалось, во всем теле болью отдавалась единственная мысль: «Погиб мой Валетка. Погиб!»

Опомнился я, когда Валет, пыльный, взъерошенный, с горящими глазами подскочил ко мне и победно завилял хвостом. Бешеная собака металась у дороги, пытаюсь подняться на передних лапах и судорожно вытягивая задние.

Мы бросились бежать, подгоняемые криками толпы. Кто-то погнался за нами.

«Это хотят убить Валета! — промелькнуло у меня в голове. — Он скоро тоже будет бешеным».

И я помчался еще быстрее.

Дома я сгоряча рассказал все, как было... Ах, если б знать заранее, к чему приведет моя откровенность! Нас немедленно разлучили. Я горько плакал на диване, а Валет, предчувствуя недоброе, жалобно скулил в коридоре, просился ко мне.

Отец куда-то исчез. А вскоре я услышал за дверью голос знакомого охотника, нервное взлаивание Валета и понял все: пришли за моим любимцем.

Я ринулся к двери. Мама успела схватить меня, прижала к себе. Но я вырвался, ударом распахнул окно. Из ворот выходил с ружьем за плечами охотник и тащил на ошейнике Валета.

— Валетка, милый! — закричал я. — Тебя хотят убить! Вернись, Валетка!

Самоотверженный друг мой взметнулся на крик, но тут же сильные руки отца рванули меня от окна.

— Это нужно, мой мальчик! Нужно. Пойми ты: необходимо! — быстро заговорил он, и в голосе его мне слышались звенящие, совсем не мужские нотки.

Силы внезапно иссякли, перед глазами заверте-

лись огненные обручи. Очнулся я с ощущением мерзкой горечи во рту. Надо мной склонился невесть откуда появившийся доктор. Что-то рассказывал деланно веселым голосом и совал мне в рот ложку с маслянистым зловонным лекарством. Напрасные старания! Душевная боль не проходила. Убивать того, кто жертвует собою во имя дружбы, убивать за героизм!.. Разве я мог смириться с этим?

Поздно вечером мама проводила меня на веранду, куда выносили на лето мою кровать. Как и доктор, долго и бессвязно рассказывала что-то, обняв за плечи. Слова ее назойливыми осами жужжали в ушах. Она понимала и разделяла мое горе, но ее притворное спокойствие было невыносимым. Чтобы остаться наедине, я притворился спящим. Едва скрипнула осторожно прикрытая за мамою дверь, я отправился на улицу, упал на крыльцо и, зажав голову руками, замер в тоскливом оцепенении. Извне просачивались веселые беззаботные голоса, смех, звуки музыки из ближнего парка. Я был одинок со своим горем.

И, конечно, оглушенный несчастьем, не мог сразу вернуться к действительности, когда знакомая до последнего бугорка теплая голова легла мне на колени. Было и такое мгновение, когда я уверовал, что схожу с ума, и в происходящем винил только свое болезненное впечатление. Но найденный на ощупь ошейник с обрывком ремешка обманывать не мог... Валетка вырвался! Он снова со мной, преданный, бесценный, Валетка!

Радость пришла не сразу. Ее опередила тревога. Испугавшись, как бы нас не разлучили вновь, я схватил Валетку руками и поволок в глубь сада. Там в зарослях бурьяна чернел ветхий сарайчик, забитый садовым инвентарем, дровами и всевозможной рухлядью. На ощупь, в крошечной тьме я натаскал мочала из порванного дивана и привязал ошеломленного,

но покорного Валета к ножке сломанной кровати. Принимал ли умный пес необходимость конспирации, только ни разу не подал голоса, лишь дважды признательно и жарко лизнул меня в лицо.

Потом, зажимая рукой свое разбушевавшееся сердчишко, я лежал в постели и думал, думал, думал... А на рассвете мы с Валетом уже шли по безлюдным улицам, и в настороженной тишине гулко отдавались по асфальту неслышные днем шаги. Мы направлялись к моему школьному товарищу Шурке. Только его отец — ветеринар мог помочь в беде.

У деревянного флигелька, под кустами пыльной акации, мы пристроились ждать: стучаться в такой ранний час я не посмел. Здесь, наконец, бессонная ночь взяла свое: я задремал, скрючившись на скамейке. Разбудил меня резкий голос, прогремевший, как мне показалось, с неба:

— Тебе кого, мальчик?

Валет дернул за бельевого шнурок, намотанный на мою руку и заворчал. В сухощавом мужчине, что выжидательно остановился на крыльце с перекинутым через плечо полотенцем и мыльницей в руках, я не сразу узнал Шуркиного отца. Может быть, оттого, что ни разу не видел его в белоснежной ночной сорочке и тапочках на босу ногу.

— Вы ведь папа Лескова Шуры? — оторопело спросил я.

— Да... А что такое случилось?

Сухой официальный тон не предвещал ничего хорошего. Запинаясь, я стал рассказывать. Но как не похоже было мое бессвязное бормотанье на ту страстную убедительную речь, которую я готовил всю ночь! Ветеринар хмурился, нетерпеливо теребя бахромку полотенца и опасливо приглядываясь к Валету. Мысли мои спутались окончательно, и я неожиданно всхлип-

нул. Разве этот черствый человек в состоянии понять чужое горе?

Посчитав ветеринара моим обидчиком, Валет снова зарычал (со вчерашнего дня у него определенно испортился характер). Я уже мысленно прощался с ним: кто же возьмется лечить этакого неучтивца?

— Только чур без эмоций, — строго предупредил Шуркин отец. — Мужчину слезы не красят. Сейчас умоюсь, обсудим положение.

Много ль нужно, чтобы воскресить мальчишеские надежды? Я стиснул Валетку за шею и зашептал ему в ухо:

— Чтобы больше не хамить, слышишь! Сейчас этот чародей даст нам волшебных порошков, и ты будешь глотать их с хлебом три раза в день. А жить тебе придется пока в сарайчике. Потерпишь недельку, ничего. Зато здоровый опять будешь, никто тебя не застрелит, глупыш мой косматый!

Тут на крыльце появился Шурка Лесков и, щуря заспанные удивленные глаза, направился ко мне. Отец остановил его суровым окриком:

— К собаке не подходить!

Шурка прирос к месту, а я похолодел от дурного предчувствия.

Несколько минут спустя Дмитрий Иванович (так звали Шуркиного отца) пригласил меня в комнату и предложил повторить рассказ. Привязанный у крыльца Валетка тревожно метался, пытаясь заглянуть в окно. Ветеринара в первую очередь интересовали приметы погибшей собаки, их мне пришлось описывать особенно подробно. Узнав все, что ему было нужно, врач задумался, угрюмо сдвинув брови, а я с затаенным дыханием ждал его приговора. То, что я услышал, было ужасней всех моих предположений.

— Плохо дело, мальчик, — вздохнул Дмитрий

Иванович. — По всем приметам собака действительно была бешеная...

— Ну и что же! — воскликнул я. — Будем лечить Валетку.

— Это не так просто, как тебе кажется. Мне очень не хотелось бы огорчать тебя, но иного выхода я не вижу: собаку твою придется... того. — Он пощелкал пальцами, как бы нащупывая щадящее, менее жесткое слово. — Придется ликвидировать. А тебе необходимо принимать уколы. Причем немедленно, с сегодняшнего дня.

— Никогда! — отчеканил я с непреклонной решимостью. — Если убьете Валетку, стреляйте и меня. Потому что ни одного укола тогда сделать мне не удастся. Ни одного! Я скорее... Тогда увидите, что я с собой сделаю.

Теперь, когда решение принято, я испытывал странную пустоту в голове и во всем теле, будто оборвались почти все нити, связывавшие меня с жизнью. Молчавший до этой поры Шурка побледнел и ухватил отца за рукав:

— Папа! Ну, неужели совсем ничего нельзя? Помнишь, овчарке ты уколы делал? Выздоровела же!

— То овчарка... И потом, что это за манера у тебя вмешиваться, где тебя не спрашивают?

Дмитрий Иванович порывисто зашагал по комнате.

— Ну, вот что... — раздраженно заговорил он, не глядя в мою сторону. — У нас на пастеровской станции имеется, кажется, одна свободная изоляционная камера. Поместим пока в нее твою собаку. Один укол я ей сделаю. Но сегодня же, крайний срок — завтра утром, твой отец или брат старший или еще кто там есть у вас пусть принесет мне голову той собаки, которую загрыз Валетка. Понятно?

(Шурка ободряюще подмигнул мне.)

— Имеется, немного, правда, заболеваний у собак, симптомы которых сходны с бешенством, — продолжал Дмитрий Иванович, уже повязывая галстук возле зеркала. — Некоторые отравления, например... Так вот, если анализ покажет, что собака поражена иной болезнью, получишь Валетку обратно. А сейчас отправишься со мной в ветлечебницу и примешь первую прививку. И без всяких там фокусов!

Что я смог возразить? Через час Валетка тоскливо ныл, запертый в тесной пропахшей карболкой конуре, а я, ощупывая жгучую ранку на животе, в самом скверном настроении выходил из ворот лечебницы. Надо было во что бы то ни стало разыскать ту злосчастную собаку, разыскать самому. Не мог же я посвятить домашних в свои утренние похождения! Вчера мое доверие чуть не погубило Валетку.

И вот я снова на месте происшествия. В траве, у придорожной канавы, я с содроганием увидел запекшуюся кровь. Собаки же на месте не оказалось. Кто-то утащил ее. Но куда?..

Вероятно, было в моем поведении что-то подозрительное, когда я поплелся по дворам, заглядывая в каждый угол, потому что незнакомый парнишка в широченных, свисавших ниже живота трусиках спросил заносчиво:

— Ты чего здесь шарить? Украсть чего-нибудь собираешься, да?

Мне самому трудно было узнать свой измученный, виновато дрожавший голос, когда я пояснял пареньку цель своих поисков.

— А я зна-а-аю! — торжествующе протянул незнакомец. — Знаю, где эта собака. Ее дядя Миша на задах закопал и не велел ребятам подходить. А вчера заявился какой-то дяденька с мешком, они ее опять зачем-то откапывали.

— Покажи мне это место! — взмолился я. — Покажи, пожалуйста!

— А чего дашь? — бесцеремонно справился паренек.

Я торопливо обшарил карманы.

— Вот! Ножик. Почти новый...

В низине, возле подернутого зеленой тиной болотца, мы вдвоем без труда расшвыряли палками бугорок сырой земли. Каково же было наше удивление, когда мы увидели собаку... без головы! Паренек смущенно сунул мне в карман ножик и исчез.

Домой я вернулся совсем больным. Хотя до вечера было еще далеко, мама силой уложила меня в постель. Есть я, разумеется, не мог, но неожиданно скоро забылся в беспокойном горячечном сне. Перед глазами в жаркой пыли кружились сцепившиеся собаки. Их заслонила вдруг голенастая фигура в белоснежной сорочке, и я вновь услышал сухой командирский приказ:

«Пусть отец твой или старший брат сегодня же принесет мне ту голову!»

На другой день мне стало полегче, но за мной был установлен строгий надзор, и незаметно ускользнуть из дома удалось только под вечер. Нечего и говорить, что прежде всего я побежал в ветеринарную лечебницу.

— Странно, очень странно, — промычал Дмитрий Иванович, выслушав мое сообщение. — Кто-то, значит, позаботился раньше тебя... Ну что ж, в награду за упорство твое сделаем Валетке весь цикл прививок. И тебе, разумеется, тоже.

С того дня началась нелегкая, полная таинственности и тревог жизнь. Утром, прихватив гостинцев для Валета, я тайком убегал в лечебницу. Четвероногий друг мой по неизвестным признакам узнавал меня еще

издали и начинал неистово метаться в своей темнице. Уколы ему делали при мне. Подчиняясь маленькому хозяину, бедный пес сам ложился под иглу, только щурился и напрягался весь в ожидании неприятностей. Насколько болезненна эта процедура, я мог судить по собственному опыту: ведь мне тоже делали прививки.

И все же настроение у меня было все время приподнятое. Однажды, взглянув на мою веселую физиономию, мама заметила с укоризной:

— А я почему-то думала — у тебя более привязчивое сердце. Как мог ты так скоро успокоиться после гибели Валетки?

Чуть было не рассказал я ей тогда все без утайки. Но все-таки сдержался. Сдержался ради того счастливого дня, когда смогу наконец без всяких опасений привести Валетку домой.

День этот наступил не скоро. Стоически перенесшего все мучения Валетку до истечения испытательного срока продолжали держать в изоляции. Но закончился и этот томительный срок. И вот мы очертя голову мчимся с освобожденным Валетом через больничный двор. У ворот пришлось остановиться, потому что Дмитрий Иванович бежит вдогонку, размахивая в воздухе бумажкой.

— Справку-то возьми! — кричит он на бегу. — Не то вас обоих из дома погонят.

Я выхватываю у него из рук бумажку, но читать не могу: от возбуждения буквы прыгают у меня перед глазами. Так, непрочитанную, я сую справку в карман, и мы с Валетом выскакиваем на улицу.

Что было дома после того, как Валет в один миг успел «перецеловать» всех от маленькой сестренки до высокорослого отца, описывать я просто не берусь.

У всей семьи этот день прошел как большой радостный праздник.

После обеда, поглаживая Валетку, отец сказал со снисходительной усмешкой:

А уколы вы, между прочим, зря принимали. Собака-то не бешеная была. Это я точно выяснил... Так-то, друзья!..



— МРР-МРР-МРР...

Пушистый дымчатый котенок свернулся клубком на подоконнике и мурлычет свою бесконечную дремотную песенку: мрр-мрр, мрр-мрр.

За окном посвистывает сердитый ноябрьский ветер, снежинки скребутся по стеклу. А котенку тепло, уютно. Горячий воздух от батареи невидимкой всплывает вверх и чуть колышет легкую занавеску.

Пригрелся Пушок, зажмурился и от полноты чувств выводит горлышком переливчатые рулады: мрр-мрр, мрр-мрр.

В ванной мерно отзванивают капли, тикают часы на комоде, монотонно гудит за шкафом счетчик. Спит котенок и видит свои кошачьи сны.

Но вот кто-то прошлепал в домашних туфлях по коридору. Дремы как не бывало. Пушок мягко соскакивает на пол и семенит белыми, словно в носочках, лапами к двери. Внимательно прислушивается, не сводя глаз с блестящей ручки.

— Нет, Пушок. Не зайдет больше в эту дверь твой маленький хозяин... Уехал Коля. Далеко уехал. И даже письмом не подает о себе весточку. Ведь ему всего только семь лет.

Котенок, оглядываясь на дверь, возвращается, прыгает ко мне на колени и трется о пиджак — просит приласкать. Всем маленьким нужна ласка. Стоит лишь протянуть руку, Пушок тотчас заснует под ладонью, прижимаясь к ней то круглой головенкой, то взгорбленной спинкой. Кончик хвоста его игриво задергается, а горловая песенка польется громче, задушевей.

Да, Пушок. Приучил тебя Коля к ласке и уехал. Что делать? Надо уметь забывать, хоть это и нелегко подчас... Ложись-ка на свое место, Пушок, и напевай непонятную песенку свою.

На подоконнике котенок аккуратно подбирает под себя лапки, закрывает глаза, и снова по комнате плывет уютная бесхитростная песенка: мрр-мрр, мрр-мрр.

Наблюдательные мальчишки дали ему смешное прозвище «кошкин доктор», хотя пытался лечить Коля не одних кошек и заступался не только за них. Заступничество это не всегда сходило ему с рук..

Помнится, в знойный июньский день, когда в городе удушливо пахло горячим асфальтом и летучий пух с тополей назойливо прилипал к вспотевшему лбу, я усталый возвращался из дальней поездки. Ватага чем-то крепко недовольных мальчишек осаждала подъезд нашего дома и неохотно расступилась, пропуская меня к дверям.

— Если не отдашь, смотри тогда! Не попадайся! — грозил кому-то у крыльца долговязый паренек в обвисшей грязной майке. Перехватив мой недоуменный взгляд, он пояснил запальчиво:

— Колька, сосед ваш, грача моего отнял. Пусть только не отдаст!

В полутьме длинного коридора я увидел его не сразу. Он сидел на корточках возле старого сундука с прижатой к глазам левой рукой. А правой удерживал молодого грача. С воинственно раскинутыми крыльями черный пленник дергался во все стороны, будто готовился биться с целым светом за свою жизнь.

— Что случилось, Коля?

— Они мучают его! — всхлипнул Коля. — Привя-зали к ноге веревку и ловят за нее, как полетит. А ему же больно. У него нога сломатая.

Теперь, когда маленький сосед открыл лицо, я заметил, что у него подозрительно распух левый глаз и кровоточит губа. Вызволить грача из беды было, видимо, не так-то просто.

— Колька! — возмущался снаружи долговзый. — Отдай грача! Хуже будет.

Я поставил чемодан и выбежал, чтобы отчитать сорванца. И сделал это от всего сердца.

Возвратясь, я застал малыша на прежнем месте.

— Что же будем с грачом делать? — осторожно спросил я. — Выпустим, а?

Коля отрицательно покачал головой.

— Опять поймают его. Больной же он. Лечить надо... А мама не пускает с ним в комнату.

— Ну, так неси его ко мне. Сделаем, что в наших силах.

Коля торопливо, словно боялся, что я передумаю, сграбастал грача в охапку и прошмыгнул в мою комнату. Камень, привязанный к птичьей лапке, застучал по полу.

Пока я освобождал грача от бечевы, он вяло и не больно щипал меня за палец, потом, припадая на вывихнутую лапу, заковылял под кровать.

Дичился наш приемыш недолго. Через час он уже выхватывал у Коли с ладони дождевых червей, потом заглотал кусок сырого мяса и пристроился спать в корзине с грязным бельем. Пользуясь его благодушным настроением, мы попытались наложить повязку на поврежденную ногу. Однако черный пациент старательно размотал ее клювом и выбросил.

Правда, и без повязки дело быстро пошло к выздоровлению. Через неделю грач горделиво вышагивал по комнате, слегка оседая на правый бочок. Несколько раз на день Коля приносил ему угощение. После кормежки осторожно, как хрупкую дорогую игрушку, по-

глаживал воспитанника по спинке. И грач, такой воинственный поначалу, кокетливо приседал перед ним и тихо, признательно курлыкал что-то на своем гортанном наречии.

Однажды, проводив мальчика до двери своей смешной, вразвалочку, походкой, грач вдруг замахал крыльями, разбежался и замелькал у меня перед глазами в стремительном ломаном полете. С того часа в моей комнате постоянно слышался свист рассекаемого воздуха и скрип упругих перьев.

Тесновато было большой птице в четырех стенах. То и дело чиркал грач крыльями по потолку, задевал за шкаф и валился вниз.

Как-то погожим утром раскричались на ближайшем бульваре вольные грачи. Насторожился наш пернатый квартирант, прислушался да как бросится к окну! И давай долбить в стекло и клювом и крыльями.

— Может, выпустим? — посоветовался я с Колей.

— Пускай летит! — недовольно пробурчал тот. — Значит, ему у нас не нравится.

В последнюю минуту грач как будто заколебался. Он попятился было от раскрытых створок окна, вопрошающе глянул на нас черным глазком, затем присел и, сильно оттолкнувшись, сорвался с подоконника вниз. Секунда — и его крылья промелькнули над крышей сарая, потом серая тень чиркнула по шиферной кровле соседнего дома, и вот уже что-то неясное, исчезающее из глаз замельтешило в синеве над далекой березовой рощей.

Коля долго смотрел в ту сторону. Очевидно, надеялся, что грач одумается, вернется. Но тот не вернулся. И понурый, обиженный мальчик направился к двери.

Станный был малыш! Он просто тосковал, если

некого было оделить своими заботами. Вскоре после проводов грача Коля добыл мне другого постояльца. На сей раз вертялого звонкоголосого воробья с подбитым крылышком. С еще не зажившим крылышком он ухитрился вывалиться в открытую форточку, сумел как-то взлететь на забор и навсегда затерялся в просторах соседнего двора.

Однако моей холостяцкой квартире не суждено было долго пустовать. Новым жильцом оказался пузатый, как бочонок, щенок с глупейшими кофейного цвета глазенками и мягкими короткими ушами.

— Вот, — выдохнул Коля, бережно опуская щенка на пол. — Пускай теперь он у вас поживет.

Помахивая хвостиком, с опущенной вниз тупорылой мордочкой покатился квартирант по полу на кривых неустойчивых ногах. Ему, видно, очень понравился ворсистый ковер на середине комнаты. Здесь он задержался, с глубокомысленным видом сотворил лужицу и заширкал задними лапками, будто хотел показать, что он не какой-нибудь неряха, а вот уже с такого раннего возраста привык закапывать свои грешки. Не могу сказать, чтобы я пришел в восторг от этого приобретения.

— Ему есть нечего, — как бы оправдываясь, заявил Коля и в смущении провел рукавом под носом. — Мать у него бедная. На цепи живет вон там, через два двора, — неопределенно махнул он рукой. — И совсем она его не кормит.

— Молока, что ли, нет у нее?

— Откуда у нее молоко? — удивился малыш. — У нее и хлеба-то нет. Разве я когда принесу ей кусочек. Она только блох своих ест, и все.

Если верить Коле, матери щенка, действительно, жилось не шикарно, и сына ее скрепя сердце пришлось оставить.

К счастью, Тузик (так мы окрестили щенка) оказался очень покладистым нахлебником. С аппетитным чавканьем, захлебываясь и фыркая, убрал он порцию супа и тщательно, до блеска, выскоблил шершавым язычком миску. Полученную на второе кость Тузик, чтобы не соблазнять нас, уволок под кровать и битый час с уморительным урчаньем мусолил ее там и катал по полу.

С четвероногим приятелем Коля мог возиться целыми днями. Щенок признавал только подвижные, азартные игры. Спрячется Коля, а Тузик, нетерпеливо повизгивая, носится по всей комнате — ищет. Найдет, уцепит за штанину и тянет из укрытия. Попался, мол, голубчик! А ну-ка, выходи на свет!

Случалось, навзоятся мои молодые, устанут и заснут оба прямо на ковре. Коля даже поздоровел в ту пору: на щеках заалел румянец, а в больших серых глазах частенько метались искорки самого бесшабашного веселья. Оказалось, и смеяться он умел не хуже других детей — заливчато, тонко, словно колокольчик.

К сожалению, Anne Васильевне, Колиной маме, почему-то не нравилось, когда сыну ее бывало весело.

— Колька! — нередко раздавался за дверью ее властный голос. — Марш домой сию минуту!

Мальчик вздрагивал, как-то увядал весь и уходил, тихонький и покорный. Однажды он не навещал нас с Тузиком несколько дней кряду. Видно, мать запретила ему эти визиты. Потом робко постучал в дверь и, не заходя в комнату, попросил отпустить с ним щенка на прогулку. Возвратился Коля один и долго безутешно плакал. Выяснилось — настоящие хозяева Тузика признали своего щенка и бесцеремонно забрали его.

Недели три я прожил в полном одиночестве. Коля совсем позабыл ко мне дорогу. Лишь изредка видел я

его в окно. Пряча что-то за спиной, озираясь по сторонам, он подходил к сараю, отпирал замок и исчезал за дверью. Затем он перестал появляться и во дворе.

Наведаться к нему я считал неудобным: с Колиной мамой мы отнюдь не были друзьями. При встречах гордая Анна Васильевна не всегда даже находила нужным отвечать на приветствия. Немудрено, что я немного растерялся, когда однажды утром она сама зашла в мою комнату.

— Колька велел сходить за вами! — не здороваясь, объявила она и с грохотом отставила предложенный стул. — Что уж за дела у вас такие? От матери вечно секреты...

Несколько минут спустя я был у соседей. Коля лежал на диване, чистенький, в свежeweыглаженной рубашонке. Носик его заострился, а на лбу и тонкой птичьей шейке яснее проступили голубые жилки. Видимо, незадолго перед моим приходом мальчика навещал доктор: в комнате еще чувствовался легкий больничный запах, а на тумбочке перед диваном белел лоскуток рецепта.

Разговор поначалу не клеился. Коля сосредоточенно сопел, ерзал по дивану, нетерпеливо поглядывая на мать. Та, очевидно, не без умысла слишком долго поправляла у комода свои завитые волосы.

— Ладно уж, — сказала она наконец, — схожу в аптеку. Секретничайте тут.

Едва закрылась дверь за Анной Васильевной, Коля приподнялся на локтях и возбужденно зашелестел мне в самое ухо:

— Вы никому не скажете, если я вам тайну открою? Нет? Тогда возьмите вот здесь, под диваном, мисочку и отнесите в наш сарай. Пожалуйста! Ключ вон там, в моем валенке, у дверей. Просто поставьте мисочку на землю и уходите. Больше ничего.

Было бы нескромным допытываться у больного, для чего это нужно. Тайна есть тайна. Я выдвинул из-под дивана мисочку с каким-то бульоном и куском белого мяса, вытряхнул из крошечного стоптанного валенка ключ и отправился выполнять поручение.

— Только потом опять приходите, ладно? — крикнул мне Коля вдогонку.

Когда я открыл дверь сарая, мне почудилось, что-то шарахнулось у меня из-под ног, взметнулось по стене на потолочную балку и растворилось там в полумраке. Я поставил мисочку и взглянул вверх. Два зеленоватых огонька светились в том месте, где исчезло таинственное существо. Не иначе, там притаилась большая одичавшая кошка. Подманить ее к мисочке не удалось. Я запер сарай и ушел.

— Ну, видели? — нетерпеливо приподнялся Коля при моем возвращении.

— Нет, никого не видал, — схитрил я.

Лицо у Коли вытянулось, пересохшие губы задержались. Он готов был расплакаться.

— Видел, видел! — поспешил я успокоить его. — Какое-то чудище шмыгнуло там на потолок. Глаза зеленые, страшные и светятся.

— И вовсе не страшные, — улыбнулся Коля. — И вовсе даже не чудище. Это Фейка.

— Кто, говоришь?

— Фейка. Ну, Фея, значит, Вы не слышали разве — феи такие бывают — добрые волшебницы? Ну, и это тоже фея. Только ее заколдовали, и она пока в кошку превратилась.

Коле было в ту пору всего шесть лет, и немудрено, что сказка так легко уживалась с действительностью в его головенке.

— А не могло случиться, что она и родилась кошкой? — спросил я.



Коля обиженно замотал головой.

— Простые кошки, если их убьют, то уже не ожидают. А эта совсем-совсем мертвая была, а потом ожила. И еще она по-человечьи может говорить, только у нее плохо получается.

— Вон оно что!.. О чем же она разговаривала?

— Просила, чтоб я ее спрятал от дяди Саши, который в нижнем этаже живет. Это он ее убил. Говорит, она у них молоко в погребе выпила. Только неверно это. Не будет Фейка чужое молоко пить. Не будет ведь, правда?

Я кивнул.

— Ну, а дальше что было?

— Дальше? — Коля болезненно передернулся и сел на постели. — Палкой он ее убил. А я ее в наш сарай отнес. Похоронить хотел. Совсем она мертвая была. Не верите?

— Верю, Коля, верю.

— Ну вот. Пошел я искать коробку, чтобы гроб сделать. Прихожу назад, а она сидит и на меня смотрит. И совсем-совсем живая. Только голова трясется. И шипит. Все слова у нее на «ш» получаются, а все равно понятно... Мама про нее ничего не знает! — спохватился вдруг Коля.

— От меня тоже не узнает, — пообещал я. — Мы вот как сделаем. Чтобы мама ни о чем не догадывалась, я сам буду кормить Фейку, пока ты не поправишься. Ты ей ничего не оставляй — сам ешь. А Фейка голодать не будет.

Горячая ладошка признательно легла на мою руку. Коля откинулся на подушку и, утомленный разговором, незаметно уснул.

Я положил в карман ключ от сарая и вышел.

Хворал Коля долго. Верный обещанию, я дважды в день навещал Фейку, приносил ей остатки со своего

стола. Поначалу она дичилась, пряталась среди обломков мебели или забиралась на потолочную балку. Потом стала доверчивей и наконец осмелела настолько, что принималась за еду в моем присутствии.

Ничего примечательного, «волшебного» в ее внешности я не находил. То была крупная серая кошка с костлявой спиной и тонкими жилистыми ногами. На голове между ушей чернел бугристый рубец. Ни у кого, кроме сердобольного Коли, такое страшилище не могло бы вызвать симпатии.

Один раз при моем появлении Фейка не поднялась со старого ватника, который был специально для нее расстелен в углу. Она ревниво прикрывала кого-то своим телом, а когда я подошел поближе, злобно оскалилась и зашипела. Оказывается, Фейка стала матерью. Из пятерых котят почему-то шевелился лишь один. На него и перенесла Фейка весь пыл своих материнских чувств. Но сберечь себя для детеныша Фейка так и не сумела.

Случилось, что мне нужно было уехать по делам на целые сутки. Вернувшись, я не нашел Фейку в сарае. Изголодавшийся котенок, дрожа всем тельцем, ползал по полу и чуть слышно пищал. Сунув сироту за пазуху, я отправился на поиски и скоро нашел его мать. Мертвая, она валялась среди осколков битого стекла на свалке. По всей вероятности, голод выгнал несчастную из сарая и она попалась-таки на глаза кровожадному дяде Саше. Хорошо еще, что котенок, хоть с грехом пополам, мог все же лакать молоко из блюдца. Иначе не выжить бы и ему на этом свете.

С Колей я виделся почти ежедневно. И всякий раз, когда мы оставались наедине, он нетерпеливо выпытывал у меня новости о Фейке. Пришло время, когда изворачиваться и выдумывать все новые и новые сказки сделалось мне не под силу.

— Знаешь, Коля, — сказал я ему тогда, — ушла от нас Фейка.

— Ушла? — упавшим голосом повторил малыш. — Как же так... И мне ничего не сказала.

— Сказала, Коля, сказала. Она сказала, что ты очень хороший мальчик и должен скоро поправиться. А еще она оставила тебе чудесного котеночка. И мама твоя не возражает, если он будет жить у тебя. Я уже говорил с ней. — Я опустил на одеяло перед мальчиком пушистого дымчатого котенка. — Вот он — подарок тебе от Фейки.

Котенку в то время было уже три недели. Он игриво подпрыгнул на одеяле, перевернулся на спину и, обхватив худенькую Колину ручонку, принялся щекотать ее задними лапками. Коля счастливо рассмеялся.

Тяжелой была их разлука. Как ни просил, как ни молил Коля, не взяла Анна Васильевна Пушка в дальнейшее путешествие. Остался котенок у меня.

Вот и сейчас, когда я кончаю свое повествование, лежит Пушок передо мной на подоконнике, мурлычет непонятную песенку и видит туманные сны.

Беснуется во дворе сердитый ноябрьский ветер. Тонкая березка стучится в окно оголенными ветвями...

Где-то ты сейчас, наш Коля?



ОНА БЫЛА похожа на ожившее снежное чучело в своем заиндевевшем полушубке, с сосульками и морозным пухом на платке, из-под которого зелеными льдинками мерцали ее прищуренные глаза. И весь класс стоял перед ней навывтяжку и ждал.

По бревенчатым стенам школы яростно хлестала метель, снежные сполохи бесновались за черными провалами окон. В коридоре шуршала и шелкала от ветра стенная газета: очевидно, Сережкина мать неплотно прикрыла за собою наружную дверь.

Людмила Григорьевна предложила ей стул, но гостя или не расслышала, укутанная в платок, или еще надеялась на чудо. Пошатываясь, будто шальной ветер и здесь все еще толкал ее, скрипя промороженными валенками, она прошагала к столу и осмотрела в лицо каждого, кто в томительном ожидании застыл перед нею за партами. С оттаявшего платка ее падали на классный журнал тяжелые звучные капли.

— Нету... И здесь нету его, — горестно выдохнула она, наконец. — Кажись, всю степь обегала, сил не осталось. Сгинул парнишка... Считаю, погиб.

За стеною дико взвыло невидимое чудище, с грохотом пробежало по железной крыше. Людмила Григорьевна вздрогнула, сдвинула ладонями седеющие виски.

— Подождите... Как же это? Садитесь, Марья Трофимовна. Отчаиваться рано. Вы, ребята, тоже садитесь... Давайте подумаем. В школе Сережи не было. Поселок у нас небольшой. Куда же он мог... отправиться?

Гостя грузно опустилась на стул, машинально

развязала платок у шеи. Ком мокрого снега смачно шлепнулся на пол.

— Теперь уж что гадать! — Бедная мать отерла варежкой слезы с пунцовых обветренных щек. — Теперь уж дело ясное — отца встречать удрал... Спаситель тоже нашелся сопливый!

— Отец-то на тракторе к Волчьим Ложкам за сеном поехал, — всхлипнув, продолжала она. — Сено кончилось на ферме, пять машин и занарядили. Утром до свету отправились, и по сю пору нет их. Блуждают, поди, по степу. Ну, а мой паршивец, Сережка, с обеда все ногами сучил: встречать, дескать, побегу на лыжах. Без него, видишь, дороги не сыщут!.. Вздуга его, не сдержалась. К соседке пошла, поостыть, успокоиться малость. Возвращаюсь, а его и след простыл. Глянула в сенцах — и лыж нету его. И Тузика прихватил, собачонку нашу...

Метель с жалобным воем скреблась за стеной. Чудилось — тысячи изябших белых рук рвутся к теплу, слепо ощупывают окна и двери. Немолчно и тонко дребезжало разбитое стекло в форточке. Лампочка на потолке замигала, погасла и, продержав класс в гнетущем напряжении, вяло, неохотно разгорелась вновь.

— Кого вы с малышами-то оставили, Марья Трофимовна? — спросила учительница.

— А никого, — безучастно отозвалась та. — Одни. Ревут, небось.

И снова оцепенела, углубясь думами в дальние дали своего горя.

— Так идите же к ним, Марья Трофимовна! — Людмила Григорьевна, как спящую, легонько потрясла ее за плечо. — Идите и успокойтесь. Сейчас мы отправимся на поиски... Ну, конечно, пойдем искать. Нас вон сколько! А ваше место у малышей. Сумеете одна добраться до дома?

Когда закрылась дверь за Сережиной матерью, Людмила Григорьевна подошла к окну, с минуту, прижав ладони к вискам, смотрела, как пляшет за темным стеклом сквозистое полымя метели, потом обернулась к онемевшему классу и спросила вполголоса:

— Кто пойдет со мной, ребята?

Вразнобой захлопали крышки парт. Не сразу и не дружно, но встали все. Одна лишь Нина Милютина, поднявшаяся последней, снова опустилась на место, потупив испуганные глаза.

— Спасибо, — просто сказала учительница. — Однако всем идти нет смысла. Человек пять нужно, не больше... Пойдешь ты, Коля, ты, Миша, Олег и вот вы двое. Вначале зайдем к вашим родителям, расскажем, в чем дело. Оденетесь потеплей. А заодно и всех остальных проводим по домам.

Через полчаса семь молчаливых фигур двигались сквозь плотные облака снежной пыли к околице. С Олегом Решетниковым вызвался идти его отец, механик совхоза — дюжий великан в громадных подшитых валенках, в полушубке, плотно охватившем его атлетические плечи, и меховых рукавицах, каждая из которых могла бы при случае заменить и детскую шапку. Под натиском его непомерных валенок тугие снежные увалы податливо расступались в стороны. За старшим Решетниковым, как по траншее, гуськом семеняли ребята, закрываясь от пронизывающего ветра рукавами. Позади, туго повязанная платком, заимствованным у квартирной хозяйки, в узеньком, городского покроя пальто продвигалась Людмила Григорьевна.

Неожиданно из снежного смерча выросла на дороге Сережкина мать. Раздетая, простоволосая, она крикнула уходящим:

— В час добрый, люди хорошие! Собачонка с ним,

не забывают. Может, голос подаст! — И исчезла, как привидение, в клубящемся снежном вихре.

У черной кузницы на окраине поселка путники остановились. Вверху, невольно притягивая взгляды, со скрежетом раскачивался на столбе последний в поселке фонарь. Снежная муть то полностью затопляла его, то редела, и тогда чудилось, будто из непроглядных глубин неба устремляются на свет бесчисленные мириады серых бабочек. Испуганно метнувшись в луче, они тонули во тьме, а на смену им летели все новые и новые рои, и не было числа им, не предвиделось конца. А там, впереди, куда не мог пробиться блеклый свет фонаря, незримая гудела и клочкотала степь.

— Что же мы остановились? — крикнула Людмила Григорьевна, протискиваясь вперед мимо сгрудившихся ребят.

— Зря идем! — хрипло пробасил механик. — Эка, что зортятся там! Мыслимое ли дело?

— А как же мальчуган? Пусть погибает?

Механик грузным медведем потоптался в скрипучем снегу и пробурчал, прячась в воротник:

— Все равно бесполезно. Иглу в сене легче сыскать, чем парнишку в степи. Если б на тракторе, да вот все, что на ходу, за сеном ушли. Вернутся, тогда разве...

Шквальным ветром чуть не повалило Людмилу Григорьевну с ног. Она взмахнула руками и, вся подавшись вперед, как бы повисая на тугих крыльях ветра, крикнула с мольбой:

— Поздно же будет! Подумайте: один он там... У меня компас с собой, фонарик взяла, спички...

Мальчики зябко сутулились, повернувшись спинами к ветру.

— Ребят только понапрасну загубим! — кивнул в их сторону механик. — Из-за одного всеми рисковать...

Последний довод подействовал, Людмила Григорьевна задумалась.

— Вы правы, — проговорила она, наконец, — всем рисковать не следует.

И первая зашагала к поселку. Узкая тень ее скользнула по сугробам и растаяла в белой кипени поземки.

Проводив по домам разочарованных, недовольно ворчавших мальчишек, учительница потуже завязала платок, потеряла опущенные инеем щеки и медленно побрела обратно, к околице. Она понимала, что отправляться в степь одной — безумие. Но разве не бывает так, что обессиленный в борьбе со стихией человек погибает в нескольких шагах от жилья? Разве не может случиться, что Сережа Демин зовет на помощь где-то совсем рядом?

Улица была совершенно безлюдна. В полосах рвущегося из окон света клубился мутный дым метели. Диковинные белесые чудища стремительно пронеслись мимо, успевая все же плюнуть в лицо колючим снегом. Тропинку, с таким трудом пробитую всей компанией, уже замело. Валенки то вязли в рыхлом снегу, то осклизались на льдистых, вылизанных ветром косогорах.

У последнего фонаря Людмила Григорьевна остановилась и, тяжело дыша, припала головой к шершавому столбу. Зачем только было тешить себя надеждой? Если б Сережа добрался до околицы, сумел бы он доползти и до первого домика... Что же теперь делать? Возвращаться? Зайти к несчастной Сережиной матери, сказать, что с поисками ничего не вышло...

«Почему?» — закричит она.

Что ей ответить? Мало шансов на успех? Рискованно? Страшно? Можно самому погибнуть?

Разве мать могут убедить такие доводы? Она на-



спех оденется, отнесет двух испуганных хныкающих малышей к соседке и, невзирая на усталость, снова отправится искать сына. Если откажут ноги, поползет, разгребая руками сугробы. Она — мать, для нее возможно даже невозможное...

Трубно гудели провода на столбе. Колочий, как дробленое стекло, снег царапал лицо. Ржавый абажур колоколом раскачивался наверху и надрывно скрипел....

Значит, только мать обязана искать родного сына? Учительница же вправе нежиться в теплой постели, когда ее ученик погибает где-то в осатаневшей степи. Но не она ли призывала учеников быть мужественными и не раздумывать долго, когда дело касается спасения ближнего? Может быть, именно ее влияние и побудило Сережу отправиться на выручку отца. ...Ах, Сережка, Сережка! Отчаянный человек. Ты ведь и в учебе идешь так же напролом. Если что трудно, непонятно, трешь кулаками упрямые шишки на лбу, сердито треплешь жесткий, словно свитый из проволоки, чуб...

Однако медлить нельзя! Людмила Григорьевна с усилием вытянула валенки из сугроба, что незаметно настелился у ее ног, и поспешно, будто боялась передумать, шагнула в плотную пепельную мглу.

Счастливая мысль озарила ее уже в дороге: мальчугана надо искать на полевом стане. Только там! Непременно там! Сереже известно это место. Летом, когда всем классом ездили на сенокос в Волчьи Ложки, останавливались у полевой кухни напиться. Вся кухня состояла из печурки со вмазанным в нее котлом и закопченного навеса. Неподалеку — деревянная будка, увешанная лозунгами и плакатами, — непритязательная гостиница для механизаторов. За будкой — черная батарея бочек в бурьяне — заправочная. Помнится

еще, вода в водовозке была холодна и прозрачна, но припахивала болотной тиной.

Сейчас будка, конечно, забита. Но неужели Сережа не сумеет открыть дверь? Такой мальчишка да чтобы не справился с парю гвоздей! Только бы не заснул, усталый, внутри — замерзнет.

Тугие снежные вихри мчались навстречу, пронизывали одежду, хлестали в лицо. Сколько времени, полуслепая и оглошшая, брела Людмила Григорьевна через гудящую степь, определить было невозможно — часы на руке остановились: не иначе — и в них проник вездесущий снег. Направление ей указывала беспокорная светящаяся стрелка компаса. Изредка попадались вехи. Людмила Григорьевна, как счастливой примете, радовалась, когда из мглы внезапно вырастала длинная покосившаяся жердь с пукот растрепанной шелестящей соломы на конце. Поставленная доброй рукой человека, вежа словно говорила: «Ты идешь верным путем. Крепись и достигнешь цели!» Возле гнувшейся под ветром жерди было вроде чуточку теплее и не так сутулила спину усталость.

Отдышавшись, снова брела, прикрывая лицо рукавом. Не слыша собственного голоса в гуле урагана, повторяла, как заклинание: «Держись, Сережа! Терпи, мой мальчик. Я иду к тебе».

Она давно поняла, что вернуться в поселок сил уже не хватит и добраться до полевого стана необходимо, чтобы самой не замерзнуть посреди открытой степи.

...Сначала в клубящейся мешанине снега проступило нечто огромное, черное, похожее на вздрагивающее крыло чудовищной птицы. То была сорванная ураганом крыша полевой кухни. Вскоре Людмила Григорьевна споткнулась о торчавшее из-под снега желез-

ное колесо. Наконец разыскала будку и с замиранием сердца прильнула к окошку.

— Сережа! Ты здесь? — забарабанила она вarezкой в мутное от изморози стекло. — Сережа! Демин!

Ответа не последовало. Ветер щелкал оторванным куском толя на крыше. Сухой репейник под окном бился о стену своими колючими головками. Домик был пуст. Но рассудок отказывался принимать жестокую очевидность.

«Может быть, заснул?» — попыталась Людмила Григорьевна заглушить все разраставшуюся тревогу. Спотыкаясь и увязая в сугробах, она разыскала заметное снегом крыльцо. Нет, дверь, забитую ржавым загнутым гвоздем, никто не открывал...

Силы сразу иссякли. Уступая непомерной усталости, Людмила Григорьевна опустилась на крыльцо и уронила голову на руки. Перед закрытыми глазами быстро-быстро потекла радужная пелена, кровь молодотчками колотилась в висках.

«Так можно замерзнуть», — равнодушно подумала Людмила Григорьевна, но бороться с колдовской дремотой было уже невмочь. С минуту еще слышалось легкое позванивание стекающей с крыши снежной крупы, шорох бурьяна у крыльца. Затем шорох сменился тихим умиротворяющим шелестом. Так неуверенно, словно смущаясь, лопочут весенние, только что опущившиеся березы. Людмила Григорьевна и вправду увидела молодую глянцевою листву, трепетную игру солнечных зайчиков на белоснежных стволах и поняла, что это зазеленели, наконец, березы перед школой. Сегодня впервые занимаются с открытыми окнами. Как славно! Теплый ветерок морщит воду в аквариуме, испуганные пучеглазые рыбки золотыми слитками падают на дно.

Где-то далеко-далеко звенит-заливается звонок.

В солнечных бликах проступает и вновь расплывается знакомое юное лицо... Кто это? Женя Одинцова? Да, она. Милая фантазерка, староста выпускного класса... Заговорила.

«Людмила Григорьевна! Мы... мы очень уважаем вас. Мы решили всем классом ехать туда, где трудно. Ехать на целину. И все очень просим вас... — Женя по-детски прижимает ладони к зардевшимся щекам. — Очень просим поехать с нами... Если это возможно для вас».

«Конечно, я с вами! — растроганно отвечает Людмила Григорьевна. — Спасибо, ребята. Спасибо за то, что вы такие хорошие».

Лликующая юная толпа увлекает ее через нескончаемо длинный стеклянный коридор. Стиснутая со всех сторон, Людмила Григорьевна тщетно пытается вздохнуть полной грудью. Куда они ведут ее? Зачем?.. Ах, вот оно! Концертный рояль. Нужно играть. Нужно. Сегодня она ни в чем не может отказать своим любимцам... Но странно! Пальцы ее, всегда такие проворные, такие послушные, сейчас вовсе не подчиняются. Вместо широких торжественных аккордов из-под черного крыла рояля ползет какой-то смутный шорох.

— На целине все равно рояля не будет, — говорит за спиной невидимый скептик. — Там много чего не будет...

Шорох переходит в сверлящий свист, завывание. И вот Людмила Григорьевна бежит по ночной улице. Навстречу вереницами мчатся лакированные автомобили. Ветер слизывает с черного маслянистого асфальта серебряные струйки снега.

«Скорее, скорее! — подгоняет себя Людмила Григорьевна. — Не то будет уже поздно!»

Она смутно помнит, что должна совершить нечто важное и неотложное... Улица вдруг исчезла. Впере-

ди — взвихренная степь, по которой, прячась в воротники, гуськом бредут куда-то ребята. В снежном вихре появилась простоволосая женщина и крикнула, прижимая руки к груди:

«Собачонка с ним, не забывайте! Тузик...»

Людмила Григорьевна с трудом подымает голову. Черный заслон перед глазами бледнеет, проясняются мысли... Но до чего же трудно подняться на ноги! Гулко колотится сердце. Все тело пронизывает несносная изнуряющая дрожь. Но надо идти... Надо... Ах, Сережка, Сережка, где же теперь искать тебя?.. Ноги слабы и ненадежны, как после болезни. Однако идти надо. Если суждено погибнуть, то пусть это произойдет после, когда сделано все, что возможно было сделать... Шаг, еще шаг, и еще...

На ближнем, разметенном ветрами косогоре луч фонарика уткнулся вдруг в лыжный след, рядом с которым петляли отпечатки собачьих лап. Значит, он все-таки проходил здесь!

— Сережа! Сере-е-жа! — крикнула Людмила Григорьевна, размахивая фонариком.

Следы вскоре исчезли, но окрыленная надеждой женщина, словно в горячечном бреду, пробивалась вперед, увязая в снежных барханах, скользя по черным и твердым, как железо, вылизанным выюгой косогорам.

...Вот и здесь льдистый наст разрушился под тяжестью лыж, а рядом совсем свежие отпечатки лап. Правда, отпечатки эти слишком велики для собаки, и как-то странно вились в луче, то сливаясь в один четкий глубокий след, то растекаясь по сторонам. Вгорячах Людмила Григорьевна не обратила на это внимания... Только бы успеть, только бы застать живым!

Она кричала теперь беспрерывно, как одержимая, до хрипоты, до звона в ушах, звала то мальчугана, то

его собаку, звала, пока ветер не донес в ответ тонкий залихватый лай.

— Тузик! Тузик! — в исступлении бросилась навстречу Людмила Григорьевна.

Из мглы выкатился ей под ноги живой крутящийся клубок, заюлил с радостным визгом, так же внезапно исчез и зашелся вдали нетерпеливым лаем, будто приглашая следовать за собой.

...Серезка не повернул головы на луч фонарика. По колена заметенный снегом, он раскачивался под ветром, словно подрубленное дерево. Едва дрожавшие руки схватили его за плечи, Серезка податливо качнулся вперед и грузно осел в снег.

Людмиле Григорьевне удалось, наконец, направить ему в лицо прыгающий непослушный луч. На нее, будто затянутые ледяной коркой, глянули бездумные, омертвевшие глаза. Но бескровные губы, на которых уже не таяли снежинки, еще подрагивали и кривились, пытаясь выдать какое-то слово.

— Боже мой, боже мой! — зашептала никогда не веровавшая в бога учительница. — Что же это такое? Сереза мой милый! Что же это?

Она раскопала руками снег вокруг замерзавшего, освободила лыжи, потом оторвала ледяные наросты с ушанки и принялась растирать варежкой лицо мальчугана. Серезка вяло ворочался у нее на коленях, бесвязно мычал и, наконец, согрел ее сдавленное страхом сердце горячим словом «мама».

— Да, да, родной. Я хотела бы быть твоей мамой, хороший мой, смелый мальчик.

Расстегнув пальто, она прижала его голову к своей груди и занялась заочеченными негнушимися руками Серезки.

— Больно, — глухо простонал тот.

— Это хорошо, мальчик. Хорошо, что больно. Зна-

чит, цела еще рука. Видишь, пальцы уже начинают сгибаться. Терпи! Нас уже двое. Теперь все будет хорошо. Надень-ка вот мою варежку и шевелись, шевелись, разогревайся!

Поглощенная заботой о мальчугане, она не обратила внимания на подозрительное беспокойство собаки. Тузик то с отчаянным лаем кидался в темноту, то, испуганно визжа, прыдал назад и, дрожащий, взъерошенный, жался к людям, как бы ища заступничества от невидимых врагов. И лишь когда перепуганный пес сделал попытку залезть под пальто, Людмила Григорьевна вспомнила про фонарик.

Ветер немного стих. Снег летел теперь только сверху, вытягиваясь наискосок длинными ровными нитями. И вот сквозь эту бесконечную пряжу в глаза человеку глянули холодные зеленые глаза зверя. Исчезнув на миг, они тотчас засветились с другой стороны, куда скользнул луч фонарика. Серая, размытая метелью тень беззвучно прошмыгнула в узком луче и скрылась. Фонарик выпал из рук, алым угольком затлел в снегу.

Волки!.. Так вот чьи следы помогли ей найти Сережку! Это они кружились возле обреченной жертвы. Пока еще их сдерживал страх перед всемогущим человеком, отпугивал лай собаки. Но что будет дальше?

Людмила Григорьевна инстинктивно прижала мальчугана к себе. Он затих у нее на груди. Дышал ровно, спокойно, видимо, спал. Лишь изредка тело его сотрясалось короткой нервической дрожью.

Тузик тоскливо заскулил, прижимаясь к ногам. Людмила Григорьевна подобрала фонарик, дотянулась до лыжной палки, что торчала рядом в снегу, и крепко сжала ее в руке. Ждать пришлось недолго. Тузик вдруг вскинулся на ноги, захлебываясь лаем, юркнул в темноту и, будто подшибленный, тотчас отскочил назад.

В робком увядающем луче фонарика совсем рядом заделались жадные огоньки.

— Прочь! — крикнула Людмила Григорьевна, замахиваясь палкой.

Ободренный ее решительным голосом, Тузик снова ринулся вперед. Через секунду из тьмы донесся его дикий предсмертный визг, потом глухая возня... и все стихло. Казалось, даже ветер сдержал свой неутомимый полет.

Сережка завозился в своем укрытии, выбрался наружу, спросил испуганно:

— Кто это? Кто здесь?

— Это я. Я! — глухо, изменившимся от волнения голосом отозвалась Людмила Григорьевна и повернула фонарик к себе. — Я это. Видишь?

— Людмила Григорьевна! — без особого удивления протянул Сережка и, шатаясь, поднялся на ноги. — А где... где Тузик?

— Тузик?.. — от страха, что Сережка может догадаться об опасности, у нее перехватило дыхание. — Тузик?.. Он убежал. Домой, наверно. И нам пора. Идти сможешь? Или мне попробовать нести тебя?

— Это зачем? Я сам...

Вяло, словно в полусне, Сережка нацепил лыжи, вытянул из снега палки и сделал несколько шатких неуверенных шагов.

— А отец как? Трактора-то вернулись? — спросил он, останавливаясь.

— Наверно, уже дома. Идем! Опирайся на мое плечо. Ну же!

— А вы как здесь? — Голос у Сережки слаб и тягуч, как и его движения.

— Я? Я тебя вышла встречать. Может, мне везти тебя? За палки, а?

— Не надо. Я сам...

Ураган стихал, словно захмелевший гуляка, утомленный собственным буйством. Поредела и снежная пелена. Истощившийся фонарик вовсе угас, мигнув на прощанье красным глазком. Брели наугад, потому что Людмила Григорьевна выронила где-то свой компас. А следом, неразличимые во тьме и оттого особенно жуткие, двигались волки. Природа научила терпению этих хищников. Чутье подсказывало им, что вожаделенная минута недалека, и волки не хотели рисковать своей шкурой раньше времени. Людмила Григорьевна поминутно чувствовала их опасную близость: то клубом дыма проплывет сбоку бесформенная тень, то скрипнет снег позади, то вдруг холодными светляками вспыхнут на пути алчные глаза.

Когда болезненно напряженные нервы не выдерживали, она торопливо доставала из внутреннего кармана коробок спичек. Яркий всполох взвивался во тьме и гас, задуваемый ветром, а траурная мгла, черным занавесом упавшая перед глазами, казалась еще непроглядней. С последней спичкой Людмила Григорьевна долго не решалась расстаться. Она извлекла ее, когда клацанье челюстей позади раздалось настолько явственно, что даже Сережка, полуживой от усталости Сережка, вздрогнул и порывисто обернулся.

— Тузик! — сонно позвал он.

— Это не Тузик... — У Людмилы Григорьевны внезапно ослабели ноги: «Сейчас догадается!» — Это не Тузик, — повторила она. (Ей удалось наконец овладеть собой, и голос ее звучал беззаботно, почти весело.) — Тузик озяб, побежал домой.

— А кто же там?

— Там?.. Никого. Смотри вот. — Она чиркнула спичкой и тотчас сама погасила ее. — Видел? Никого!.. Дай-ка мне одну палку. И обопрись на мое плечо. Ближе. Вот так...

И опять сквозь зыбкую снежную пряжу брели по степи две одинокие фигурки, а волки все тесней сжимались вокруг них, будто догадывались, что жертвы их лишились еще одного союзника — огня. Все чаще серые призраки вырастали на пути, леденили душу холодным мерцанием глаз. Тогда наигранно весело и громко Людмила Григорьевна спрашивала о чем-нибудь своего угрюмого спутника, низко склоняясь к его лицу, чтобы тот не заметил роковой преграды на пути. Рассеянный и озабоченный, Сережка отвечал вяло, односложно и все время прислушивался к монотонному гудению ветра. Украдкой глянув вперед, Людмила Григорьевна с облегчением замечала, что волки отступили и путь снова свободен.

«Они боятся человеческого голоса!» — мелькнула у нее счастливая догадка.

— Ну что ты раскис, Сергей? А еще мужчина! Давай-ка споем что-нибудь. Какую ты знаешь? А ну!

В лесу родилась елочка,
В лесу она росла-а...

— Ну пой же! — повелительно крикнула учительница.

Зимой и летом стройная,
Зеленая была-а.

Умолкла на миг, прислушалась: Сережка чуть слышно подтягивал. Ликуя в душе, что спутник ее еще ни о чем не догадывается, до слез тронутая его покорностью, Людмила Григорьевна запела громко и красиво:

Метель ей пела песенку:
«Спи, елочка, бай-бай!»
Мороз снежком укутывал:
«Смотри не замерзай!»

Если б волкам были ведомы человеческие чувства, они бы поняли, что этой песне недолго звенеть над

степью: голос певицы слабел, все отчетливей слышались в нем нотки отчаяния. Но волкам не дано понимать человека. Незнакомые звуки порождали в них лишь глухую тревогу и страх. Они выжидательно насторожились и, сгрудившись стаей, пропустили путников вперед.

Сережка первым оборвал песню.

— Ну что же ты? — быстро спросила Людмила Григорьевна.

— Так... Ни к чему это! — буркнул мальчуган, всматриваясь в темноту.

— Отчего же? С песней веселей... Теплее даже, — в замешательстве проговорила Людмила Григорьевна, замечая с досадой, что на сей раз голос предательски выдает ее волнение.

Сережка молчал, обеими руками сжимая лыжную палку.

— Что же мы встали? Идем, Сережа! Тут уже недалеко.

Сережка стоял, замкнувшись в себе, странно далекий и непонятный.

Опасность придала нервам Людмилы Григорьевны необыкновенную, болезненную чувствительность. Она почти видела, как вновь сжимается вокруг них серое кольцо... Но правая рука, варежку с которой она еще раньше пожертвовала для Сережки, не слушалась ее. Онемевшие пальцы скользнули по гладкому древку, и палка — единственное оружие в предстоящей схватке — осталась торчать в снегу.

«Отморозила руку!» — догадалась Людмила Григорьевна. Однако не боязнь остаться калекой потрясла ее в ту минуту: ужасно было сознавать, что шансов на победу осталось ничтожно мало... И все же надо что-то делать. Волки наглеют, подступают все ближе. Как же

расшевелить Сережку, пробудить в нем надежду? Бедняжка совсем оцепенел.

— Пойдем, милый! — Уцелевшей рукой Людмила Григорьевна выхватила из снега палку и тронула плечом мальчугана. — Пойдем! Ведь холодно же. Я понимаю, ты страшно устал, тяжело тебе... Но ведь надо! Надо идти. Дома тепло, отогрешься в постели... (Позади явственно скрипнул снег под воровато ступающими лапами.) — Ну давай покричим тогда, будто мы заблудились...

— Ау-у-у!

«Какой, должно быть, глупой кажусь я ему сейчас!» — промелькнуло где-то на краю сознания. Но она будет кричать, пока еще повинуется голос. Кричать хотя бы для того, чтобы Сережка не слышал, как жутко скрипит снег под волчьими лапами.

Во тьму снова понеслось протяжное, отчаянное: «Ау-у-у!»

— Смотрите! — завопил вдруг Сережка. — Туда, назад!.. Глядите...

Позади взметнулся узкий бледно-голубоватый луч, пробил толщу тьмы, исчез на миг за невидимым косогором, вспыхнул снова и, покачиваясь, уверенно разрубая плотную темь, заструился по степи, вытканый серебристой вязью снежинок. А следом за ним ударили в небо и, поникнув, заметались по сугробам все новые и новые лучи. Они скрещивались, разбегались по сторонам, сливались в широкую сплошную полосу, надвигались все ближе и ближе.

— Наши! — торжествующе заорал Сережка. — Трактора наши идут. Бежим!

На этот раз он сам уцепил за рукав свою безмолвную спутницу и, задыхаясь, повлек ее навстречу спасительным лучам.

На одиночество Людмила Григорьевна не могла пожаловаться. Медпункт на центральной усадьбе, куда привезли ее из города после операции, почти ежедневно осаждали ученики. Обычно с попутной машиной наезжало их сразу полкласса. Халатов на всех не хватало, поэтому в палату заходили по очереди. Рассаживались чинным рядом на свободной соседней койке, торжественно тихие, раскрасневшиеся от мороза.

Разговор долго не налаживался (ребята считали почему-то, что у постели больной приличнее всего помолчать), потом, ободренные веселой приветливостью учительницы, ребята развязывали языки и тогда уже трещали наперебой, выбалтывая все школьные и поселковые новости. А за стеклянной дверью в ожидании халатов нетерпеливо топтались остальные.

Сережку Демина по какому-то негласному уговору пропускали вне очереди, и выходил он из палаты последним, с виновато склоненной головой, придерживая в кулаке не в меру длинный халат. У двери неизменно оглядывался, и Людмила Григорьевна читала в его глазах глубокое, недетское сострадание.

Однажды учительница поманила Сережку к себе и доверительно сообщила:

— Завтра, Сережа, у меня повязку снимут... Привези мне, пожалуйста, крышку от сломанной парты. Их много было у нас в школьном сарае. У завхоза попроси. И мела кусочек. Хорошо?

На другой день мужское достоинство впервые изменило Сережке. Увидев изуродованную руку с красными сморщенными култышками на месте двух ампутированных пальцев, он подозрительно шумно вздохнул и отвернулся, подрагивая плечами.

— Что ты? Что с тобой? — заволновалась Люд-

мила Григорьевна. — Посмотри, я еще писать могу. Смотри вот...

Видимо, от волнения больная долго не могла справиться с мелом — он все выпадал у нее на одеяло. Наконец, приспособив черную дощечку на коленях, она подумала минуту и, прикусив, как маленькая, губу, четко, красиво вывела:

«В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА».

— Видишь вот! А ты расчувствовался, чудак! Смотри-ка, жить еще можно! Что у вас по грамматике было на последнем уроке?

— Как же вы теперь на музыке-то будете играть? — горестно всхлипнул Сережка. — Пианино-то настроили в красном уголке, из города дяденька приежал.

Темная тучка пробежала по лицу учительницы.

— На свете остается много прекрасного даже помимо музыки, — подумала она вслух.

— Конечно, — по-своему понял ее слова Сережка. — Могло быть и хуже. — Он посмотрел на черную дощечку, украшенную безукоризненной каллиграфической надписью, и, отводя глаза от лежавшей поверх одеяла странно притягательной руки, осторожно спросил:

— Вы ничего тогда не заметили, в степи-то, когда шли?

Кровь жаркой волной затопила лицо Людмилы Григорьевны.

— Н-нет... А что?

Сережка напряженно заморгал, словно хотел убедиться, что недавние слезы уже высохли на ресницах, и прогудел, солидно понижая голос:

— Ничего... Хорошо, что не заметили.

Он помолчал, потирая упрямые шишки на лбу,

наконец, не выдержав тяжести душившей его тайны, решительно откинул пятерней жесткий чубчик и зачастил, делая страшные глаза:

— Ведь нас тогда чуть волки не заели... Да-да! Тузика-то ведь они съели. Так и не вернулся. И до нас хотели добраться. Я их прямо рядом видел. Вам только не говорил. Вы тогда такая веселая были. «Пусть, — думаю, — она ничего не знает, все-таки ведь женщина!» А про себя думаю: «Бросится на нее какой, я его палкой наскрозы!» У меня ведь палки-то лыжные настоящие — с наконечниками!



СОДЕРЖАНИЕ

ГРИШКА-ГОВОРУН	3
ДВА ВЫСТРЕЛА	14
ЖАР-ПТИЦА	26
МЕЧЕНЫЙ	40
ДЕДУШКИН ТРОФЕЙ	59
ВАЛЕТКА	70
КОШКИН ДОКТОР	85
В БУРАН	96

Балашов Виктор Сергеевич
ПРО КОСМАТЫХ И ПЕРНАТЫХ

Редактор Э. Л. Финн

Художник В. Г. Ключев
Худож. редактор Е. В. Альбожинов
Технический редактор В. Ф. Малыгина

Корректор Э. И. Щербанова

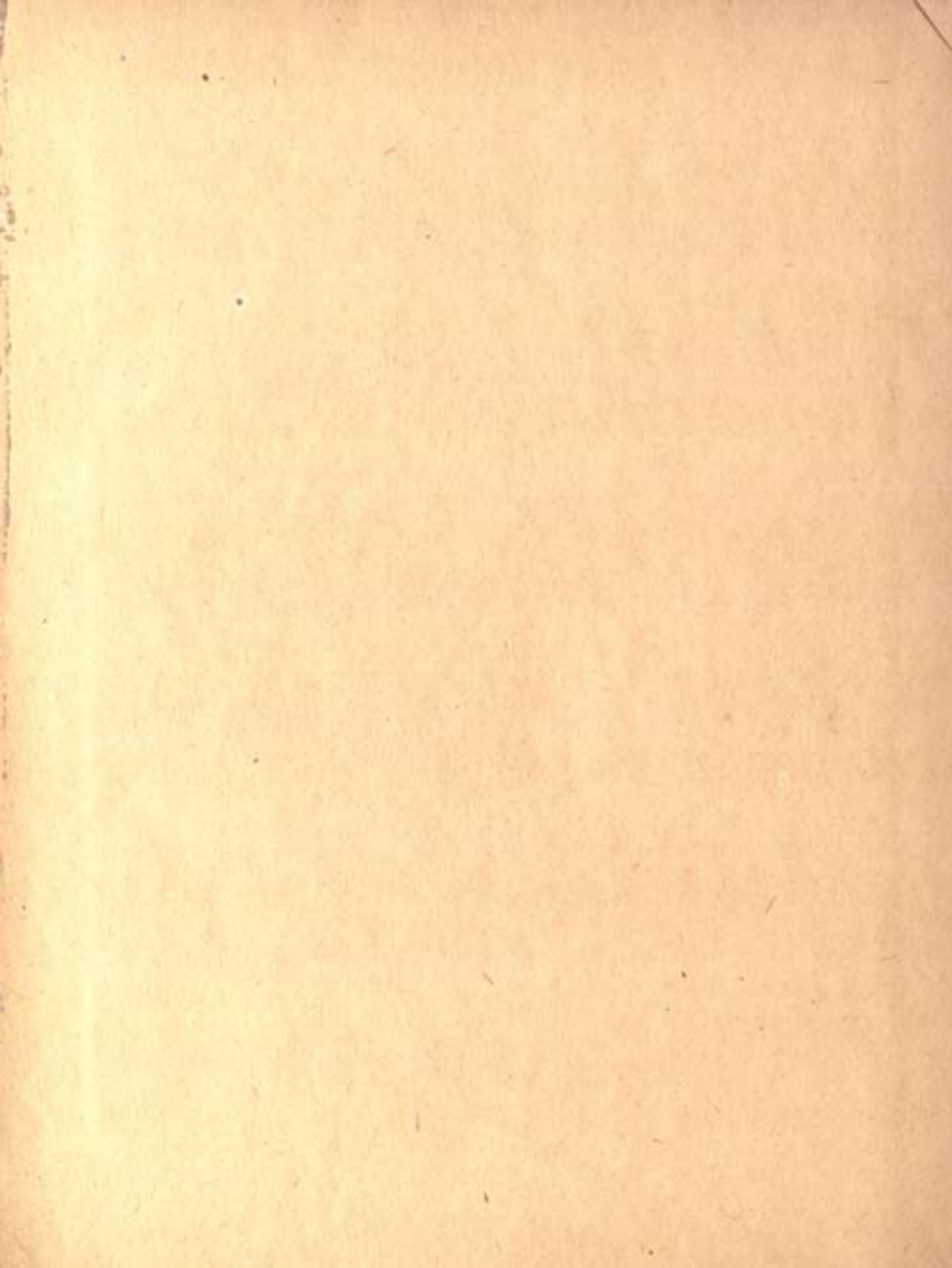
Сдано в набор 8-VII-1966 г. Подписано к печати 29-XII-1966 г.

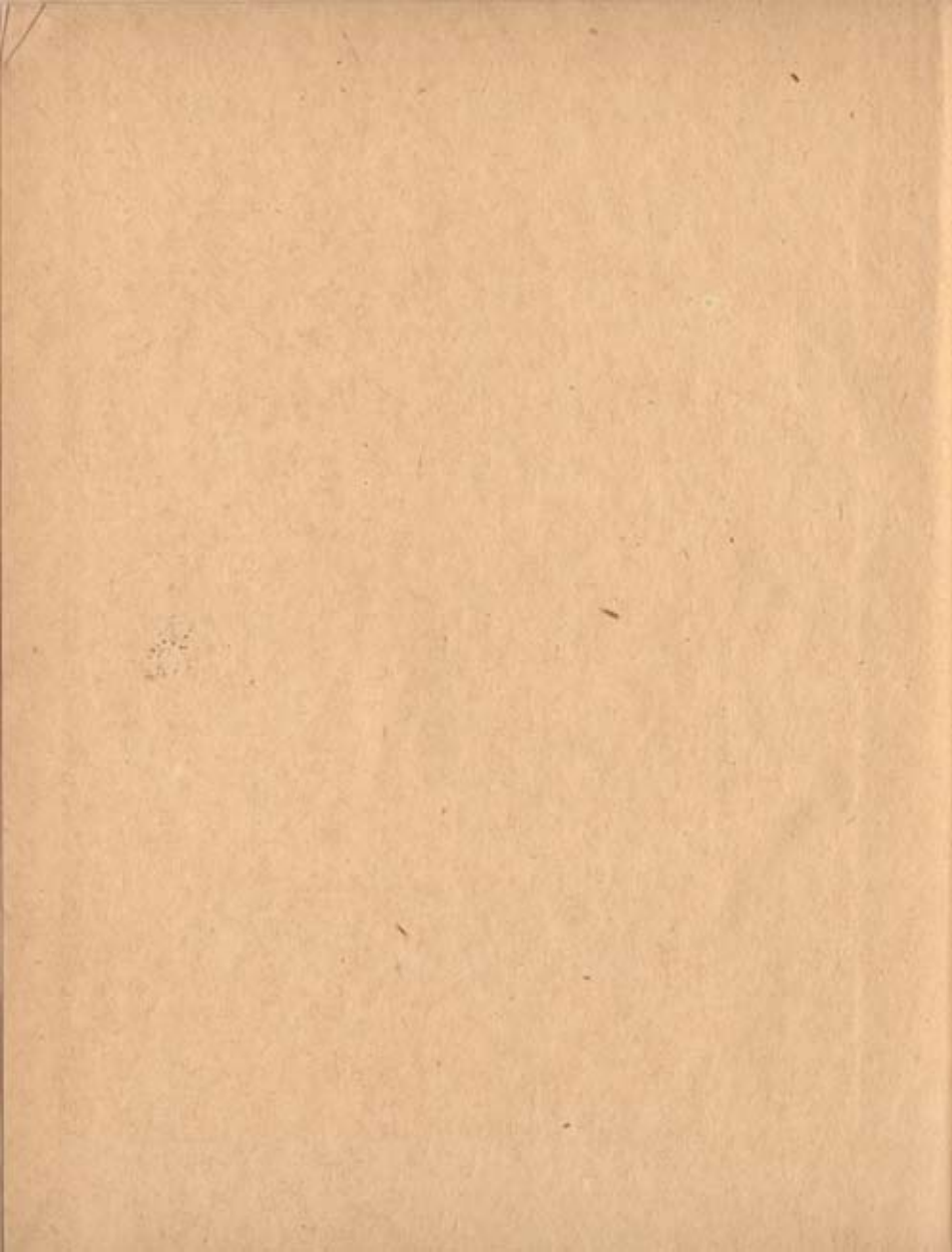
Тираж 100000 (I-30000) экз. Формат 70×90¹/₄. Бумага
типографская № 2. Физ. печ. л. 7,25.

Усл. п. л. 8,48. Уч.-изд. л. 5,66. Цена 41 коп.

Куйбышевское книжное издательство, г. Куйбышев, Самарская, 201.

Тип. изд-ва «Волеиспол коммун», г. Куйбышев, ул. Самарская, 201.
Заказ № 3785.





5

41 коп.

КУЙБЫШЕВСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1967